



ЭМИЛЬ
ЗОЛЯ

Карьера Ругонов

АЗБУКА-КЛАССИКА

Ругон-Маккары

Эмиль Золя

Карьера Ругонов

«Азбука-Аттикус»

1871

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Золя Э.

Карьера Ругонов / Э. Золя — «Азбука-Аттикус», 1871 — (Ругон-Маккары)

ISBN 978-5-389-23222-8

Эмиль Золя (1840–1902) – один из столпов мировой реалистической литературы, предводитель и теоретик литературного движения натурализма, увлеченный исследователь повседневности, страстный публицист и правозащитник. Его самый известный труд – эпохальный двадцатитомный цикл «Ругон-Маккары», распахивающий перед читателем бесконечную панораму человеческих пороков и добродетелей в декорациях Второй империи, энциклопедия жизни Парижа и французской провинции на материале нескольких поколений одной семьи, родившей самые странные плоды, и «Карьера Ругонов» (1871) – первый том этой саги. Алчность, гордость, любовь к ближнему, жестокость, насилие, безумие, вера в революцию, борьба за власть, возвышение подлецов, гибель чистых душ: эта история стара как мир – и, как мир, вечна.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-23222-8

© Золя Э., 1871
© Азбука-Аттикус, 1871

Содержание

I	6
II	22
III	41
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Эмиль Золя

Карьера Ругонов

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

I

Если выйти из Плассана через Римские ворота, расположенные у южной заставы, то вправо от дороги в Ниццу, за первыми домами предместья, окажется незастроенный участок, известный в этой местности под названием пустыря Святого Митра.

Пустырь Святого Митра тянется довольно большим прямоугольником вдоль дороги и отделен от нее только полоской вытоптанной травы. Справа проходит небольшая улица с ветхими домишками, которая кончается тупиком; слева и в дальнем конце пустырь огорожен замшелой каменной стеной, а над нею поднимаются ветви тутовых деревьев большой усадьбы Жамефрен, ворота которой выходят в предместье. Пустырь, замкнутый с трех сторон, представляет собой нечто вроде площади, но она никуда не ведет, и по ней проходят только для прогулки.

В давние времена здесь было кладбище Святого Митра, провансальского святого, весьма чтимого в здешних краях. Еще в 1851 году старожилы Плассана вспоминали о стенах старого кладбища, заброшенного много лет тому назад. Земля, более века поглощавшая трупы, пресытилась смертью, и пришлось открыть новое место погребения, на другом конце города. А старое кладбище с каждой весной очищалось, покрываясь томной, густой растительностью. Жирная земля, из которой заступ могильщика при каждом ударе извлекал человеческие останки, оказалась невиданно плодородной. После майских дождей и июньского зноя зелень разрасталась так буйно, что с дороги виднелись над стеною верхушки кустов, а внутри расстиралось темно-зеленое море, глубокое, усеянное большими, необычайно яркими цветами. Чувствовалось, что внизу, во мраке, под сплетением стеблей в сыром черноземе, бурлят, поднимаются соки.

В те времена достопримечательностью кладбища были грушевые деревья с узловатыми, искривленными сучьями; они приносили необыкновенно крупные плоды, на которые не позарились бы, однако, ни одна плассанская хозяйка. Горожане говорили о кладбищенских грушах с гримасой отвращения; но мальчишки предместья, не отличавшиеся брезгливостью, в сумерки ватагами взбирались на стены и рвали груши, не давая им даже созреть.

Кипучая жизненная сила трав и деревьев быстро переборола смерть, царившую на старом кладбище. Цветы и плоды жадно поглощали человеческий прах, и настало наконец время, когда до людей, проходивших мимо этой клоаки, доносился только терпкий аромат диких левкоев. Для этого понадобилось всего несколько весен.

Тут город начал подумывать о том, как извлечь пользу из коммунального достояния, пропадающего без толку. Снесли каменную стену вдоль улицы и тупика, выволокли траву, срубили грушевые деревья. А потом перенесли кладбище. Почву вскопали на несколько метров вглубь и свалили в угол кости, отданные землей. Мальчишки оплакивали гибель грушевых деревьев, но зато целый месяц катали черепа, как шары, а раз ночью досужие шутники привязали человеческие кости ко всем дверным звонкам в городе. Безобразные выходки, о которых Плассан не забыл и поныне, прекратились, когда наконец решили захоронить кости в яме, вырытой на новом кладбище. Но в провинции работы производятся с мудрой медлительностью, и жители Плассана в течение целой недели наблюдали, как по улицам проезжает одна-единственная телега, перевоза человеческие останки навалом, точно строительный мусор. Хуже всего было то, что с телеги, которая тащилась через весь город и тряслась по ухабам, при каждом толчке сыпались кости и комья жирной земли. Останки перевозили неторопливо, с грубым равнодушием; и помину не было о религиозной церемонии. Никогда еще город не испытывал такого омерзения.

Прошло много лет, но бывшее кладбище Святого Митра по-прежнему внушало ужас. Пустырь у проезжей дороги, открытый всем и каждому, все еще не был заселен, и скоро им

снова завладели сорные травы. Город рассчитывал продать его под застройки, но покупателей не находилось. Возможно, что их отпугивало воспоминание о груде костей и о той одинокой телеге, которая тащилась взад и вперед по улицам, навязчиво, как дурной сон. Вернее же, причину следовало искать в обычной провинциальной лени и косности; провинция боится и разрушения, и созидания. Так или иначе, город оставил участок за собой и в конце концов забыл о том, что хотел его продать. Пустырь даже не обнесли забором – входи кто хочет. И вот с годами к заброшенному месту стали привыкать; люди отдыхали на траве у края пустыря, проходили через него, обжили его. Ноги прохожих вытоптали травяной ковер, земля стала серой и твердой, и бывшее кладбище начало походить на плохо утрамбованную площадь. А чтобы окончательно изгнать из памяти обывателей неприятное воспоминание, их незаметно, исподволь, подготовили к перемене названия: сохранили только имя святого, присвоив его также и тупику в углу пустыря; так возникли площадь Святого Митра и тупик Святого Митра.

Все это было давно. Вот уже тридцать лет, как площадь Святого Митра сохраняет свой особый облик. Бездеятельный и сонный город не использовал пустырь и сдал его за ничтожную плату каретникам предместья, которые устроили там склад лесных материалов. Еще и в наши дни площадь загромождена огромными, десяти-пятнадцатиметровыми балками, похожими на высокие рухнувшие колонны. По всему полю, из конца в конец, тянутся груды балок, разбросанных на земле; это излюбленное место ребятишек. Кое-где бревна скатились и покрывают землю как выпуклый настил, по которому можно пройти только с ловкостью акробата. Гурьба мальчишек с утра до вечера предается этому упражнению. Они перепрыгивают через широкие доски, гуськом проходят по узкому ребру балок, катаются на них верхом, придумывают разные игры, которые обычно кончаются дракой и слезами; или усаживаются рядком, тесно прижавшись друг к другу, на конце бревна, приподнятого над землей, и качаются часами. Пустырь Святого Митра стал местом забав, где вот уже четверть века протирают штанишки все шалуны предместья.

Большую живописность этому участку придавали кочующие цыгане, по традиции избравшие его своим пристанищем. Только появится в Плассане дом на колесах, в котором помещается целое цыганское племя, смотришь – он уже расположился в конце площади Святого Митра. Площадь никогда не пустует: по ней вечно бродит подозрительный люд – свирепые с виду мужчины, безобразные, высохшие женщины, а среди них в пыли барахтаются очаровательные цыганята. Народ этот живет на вольном воздухе, не зная стеснения, на глазах у всех варит пищу, ест что-то непонятное, развешивает свои отрепья, спит, дерется, обнимается, и от него исходит зловоние грязи и нищеты.

На мертвом, пустынном поле, где в былое время одни шмели жужжали вокруг пышных цветов, нарушая жаркую, душную тишину, стоит шум: кричат и ссорятся цыгане, орут мальчишки из предместья. Пронзительным голосам вторит глухой бас лесопильни, где со скрипом распиливают бревна. Лесопильня весьма примитивна: бревно кладут на высокие козлы, один пильщик становится вверху, на самом бревне, другой стоит внизу – опилки сыплются ему прямо в глаза, – и оба равномерным движением толкают взад и вперед длинную крепкую пилу. Так долгими часами они наклоняются и выпрямляются, точно картонные паяцы, однообразно и четко, как машины. Напиленный лес складывают вдоль стены в конце площади штабелями по два-три метра вышиной, аккуратно, доска к доске, правильными кубами. Груды досок, похожие на квадратные скирды, простаивают здесь не одно лето и обрастают у подножия травой; в них одно из очарований площади Святого Митра. Между штабелями выются таинственные узкие и укромные тропинки, которые ведут в широкий проход, оставленный между грудями досок и стеной, в уединенную зеленую просеку, откуда видна только полоса неба. В этой аллее, где стены выстланы мхом, а нога ступает как по пушистому ковру, еще царят буйные травы и трепетное молчание старого кладбища. Теплые, неуловимые дуновения смертной истомы поднимаются из старых могил, прогретых жарким солнцем. В окрестностях Плассана

нет участка более волнующего, более насыщенного теплом, одиночеством и любовью. Вот где, должно быть, чудесно любить! Когда разрушали старое кладбище, то, наверное, именно в этом углу свалили кости; даже и сейчас порой наступаешь в сырой траве на осколок черепа.

Впрочем, никто уже не вспоминает о мертвецах, некогда покоившихся под этими травами. Днем лишь дети, играя в прятки, забегают за груды досок. Зеленая аллея лежит нетронутая, забытая. Прохожие видят только лесной склад, заваленный досками и серый от пыли. Утром и к вечеру, когда спадает зной, площадь кишит людьми, и над суетливой толпой, над детьми, играющими на бревнах, над цыганами, раздувающими огонь под котелками, вырисовывается в небе четкий силуэт пыльщика на бревне; он раскачивается взад и вперед, размеренно, словно маятник, и будто управляет всей этой новой, жадной жизнью, возродившейся на старом поле вечного покоя. И только старики, сидя на досках и греясь в лучах заходящего солнца, порой еще толкуют о костях, которые некогда перевозила по улицам Плассана легендарная двуколка.

К ночи площадь пустеет и зияет, как огромная черная яма; лишь где-то в глубине чуть светятся догорающие цыганские костры. Порою в густом мраке бесшумно мелькают чьи-то тени. Особенно жутко здесь в зимнее время.

Однажды в воскресенье, в начале декабря 1851 года, часов в семь вечера, из тупика Святого Митра тихо вышел молодой человек и стал пробираться между досками склада, крадучись вдоль стены. Стояла сухая морозная погода. Полная луна струила яркий белый свет, какой бывает только зимою. В ту ночь все было безмолвно, все застыло от холода, и площадь уже не так зловеще чернела, как в ненастные ночи; она простиралась, залитая потоком лунного света, в неизъяснимой, тихой печали.

Юноша остановился на краю поля, настороженно глядя вперед. Он скрывал под курткой приклад длинного ружья; ствол, опущенный к земле, поблескивал в лунном свете. Прижимая оружие к груди, он пристально вглядывался в прямоугольные тени, падавшие от штабелей в глубине склада. На земле, точно на шахматной доске, чередовались резко очерченные белые и черные квадраты света и тени. Посреди площади, на сером голом грунте, вырисовывались козлы пыльщиков, длинные, узкие, нескладные, похожие на чудовищную геометрическую фигуру, начерченную тушью. Казалось, что бревенчатый настил – широкое ложе, на котором дремлют лунные блики, чуть тронутые узкими черными тенями, скользящими вдоль досок. В сиянии зимней луны, в ледяном покое, балки, лежащие на земле, неподвижные, будто скованные холодом и сном, напоминали о мертвецах старого кладбища. Молодой человек окинул это пустынное место беглым взглядом: ни души, ни звука – нечего бояться, что кто-нибудь увидит или услышит. Но темные пятна в глубине смущали его. Все же, после короткого осмотра, он решительно и быстро пересек поле.

Очутившись под прикрытием, он пошел медленнее. В зеленом проходе между досками и стеной не слышно было даже звука шагов, чуть потрескивала под ногами замерзшая трава. У него сразу стало легко на душе: должно быть, он любил это место, где ничто не грозило ему, где его ждало только хорошее и приятное. Он уже не прятал ружья. Аллея лежала перед ним как темная просека; лунный луч скользил между досками, и полоса света прорезала траву. Все спало, и тени, и лунные блики, глубоким, сладким и печальным сном. Каким покоем веяло от тропинки! Молодой человек прошел по ней до конца. В том месте, где стены Жа-Мефрена образуют угол, он остановился, прислушался, не донесется ли какой-нибудь звук с соседнего участка. Ничего не услышав, он нагнулся, раздвинул доски и спрятал между ними ружье.

Здесь, в углу, была древняя надгробная плита, забытая при перенесении старого кладбища и поставленная ребром, немного наискось, как высокая скамейка. Дожди источили ее края, мох медленно разъедал ее, но при свете луны можно было разобрать остатки надписи,

высеченной на лицевой стороне плиты, врезавшейся в землю: «Здесь покоится... Мария... усопшая...» Остальное стерло время.

Спрятав ружье, молодой человек прислушался еще раз. Но, ничего не услышав, взобрался на камень. Стена была низенькая; он облокотился на нее. За рядами тутовых деревьев, посаженных вдоль стены, видна была только равнина, залитая светом; поля Жа-Меффрена, ровные, без единого деревца, расстилались в лунном сиянии, как огромные полотнища сурового холста. Шагах в ста от стены яркими белыми пятнами выделялись жилой дом и службы. Юноша пристально смотрел в ту сторону, как вдруг часы на городской башне медленно, торжественно пробили семь раз. Он сосчитал удары и спрыгнул с камня, удивленный и успокоенный. Затем сел на камень, видимо приготовившись к долгому ожиданию, и как будто даже не чувствовал холода. Более получаса просидел он в глубоком раздумье, не двигаясь, устремив глаза в темноту. Уголок, который он облюбовал, был сначала в тени, но луна поднималась все выше, и наконец голова юноши оказалась на свету.

Он был молод, крепок. Тонко очерченный рот и нежная кожа говорили о юности. Ему, вероятно, было лет семнадцать. Он был хорош своеобразной, характерной красотой.

Худощавое, продолговатое лицо, казалось, было вылеплено рукой могучего скульптора. Крутой лоб, нависшие брови, орлиный нос, резкий широкий подбородок, выдающиеся скулы придавали лицу особую рельефность. С годами оно, вероятно, стало бы костлявым, приобрело бы сухость, свойственную облику странствующего рыцаря, но сейчас, в пору возмужалости, некоторая жесткость лица, покрытого легким пушком на щеках и подбородке, скрашивалась какой-то очаровательной нежностью, детской незавершенностью отдельных линий. Теплые черные глаза, глаза отрока, тоже смягчали энергичное выражение лица. Юноша понравился бы не всем женщинам; он был далек от того, что принято называть красавцем, но черты его дышали такой полнотой жизни, такой привлекательностью, были одухотворены такой возторженностью и решимостью, что, наверное, девушки этого края, смуглые девушки Юга, заглядывались на него, когда он в жаркие июльские вечера проходил мимо их калиток.

Юноша все еще сидел, задумавшись, на надгробной плите, не чувствуя, как лунный свет струится у него по груди и коленям. Он был среднего роста, широкоплеч, с крепкими руками, руками мастерового, уже успевшими огрубеть от работы; ноги, обутые в тяжелые шнурованные башмаки, тоже были крепкие, с широкими ступнями. Широкая кость, форма рук и ног, неуклюжесть манер изобличали в нем простолюдина; но в гордой посадке головы, в блеске умных глаз чувствовался глухой протест против отупляющей черной работы, которая пригибала его к земле. Под тяжеловесностью, присущей его породе, его классу, угадывался природный ум, тонкая, нежная душа, придавленная, страдающая оттого, что не может, сияя, вознестись над своей грубой оболочкой. И поэтому, несмотря на всю свою силу, он был робок и неуверен. Он бессознательно стыдился своего несовершенства и того, что не знает, как достичь совершенства. Это был славный малый; его невежественность претворилась в энтузиазм; мужественное сердце юноши, управляемое еще ребяческим разумом, было способно и на беззаветную преданность, и на героический подвиг. В тот вечер он был одет в вельветовые брюки и куртку зеленоватого оттенка. Мягкая фетровая шляпа, сдвинутая на затылок, отбрасывала на лоб полосу тени.

Когда башенные часы пробили половину, он вдруг очнулся от раздумья и, заметив, что весь залит лунным светом, тревожно оглянулся. Он быстро откинулся в темный угол; нить его мыслей была прервана. Тут он почувствовал, что руки и ноги у него заоченели, и его охватило нетерпение. Еще раз он влез на камень и заглянул через стену в Жа-Меффрен, но там было по-прежнему пусто и тихо. Не зная, как убить время, он спрыгнул с камня, вынул ружье из груды досок и начал, забавляясь, поднимать и спускать курок. Это был длинный тяжелый карабин, несомненно принадлежавший раньше какому-нибудь контрабандисту; по толщине приклада и массивности ложа можно было узнать старое кремневое ружье, переделанное местным оружейником. Такие карабины еще встречаются в деревнях, где их вешают над очагом. Молодой

человек любовно поглаживал свое ружье; он раз двадцать спускал курок, засовывал мизинец в дуло, внимательно рассматривал приклад. В его юношеском энтузиазме было еще много ребяческого. Наконец он приложил ружье к щеке и начал целиться в пустоту, как новобранец на ученье.

Скоро должно было пробить восемь часов. Юноша все еще целился, как вдруг с Жамефрена донесся тихий, задыхающийся голос, легкий, как вздох.

– Ты здесь, Сильвер? – спросил кто-то.

Сильвер бросил ружье и одним прыжком очутился на плите.

– Да, да, – ответил он тоже приглушенным голосом. – Постой, я тебе помогу.

Но не успел юноша протянуть руку, как над стеной показалась девушка. Необычайно ловко, словно кошка, она вскарабкалась по стволу тутового дерева. Движения ее были уверенны и легки; видно было, что она не раз пользовалась этим путем. Миг – и она очутилась на стене. Сильвер подхватил ее и перенес на скамью. Она отбивалась.

– Пусти, – говорила она, заливаясь детским смехом. – Да пусти же... я сама могу спуститься.

Усевшись на камне, она спросила:

– Ты давно ждешь?.. Я бежала изо всех сил, совсем задохнулась.

Сильвер не ответил. Ему было не до смеха, и он грустно глядел на девушку. Сев рядом с ней, он сказал:

– Мне нужно было с тобой увидеться, Мьетта. Я прождал бы всю ночь. Завтра, на рассвете, я уйду.

Тут Мьетта заметила ружье, валявшееся в траве. Она сразу стала серьезной и прошептала:

– А!.. Так, значит, решено... вон и ружье...

Наступило молчание.

– Да, – неуверенно ответил Сильвер. – Это мое ружье. Я унес его из дому с вечера, а то утром тетя Дида увидит, что я его беру, и разволнуется... Я его спрячу, а перед уходом зайду сюда за ним.

Мьетта не могла отвести глаз от ружья, неосторожно брошенного на траве, поэтому Сильвер встал и снова засунул его между досками.

– Утром мы узнали, – сказал он, садясь на плиту, – что повстанцы Палю и Сен-Мартен-де-Во уже вышли и прошлой ночью стояли в Альбуазе. Решено идти на соединение с ними. Сегодня часть плассанских рабочих уже ушла из города, завтра и остальные уходят к своим братьям.

Он произнес слово «братья» с юношеским восторгом. Потом, воодушевляясь, добавил звенящим голосом:

– Борьба становится неизбежной, но правда на нашей стороне, и мы победим.

Мьетта слушала Сильвера, глядя вдаль и ничего не видя. Когда он кончил, она сказала просто:

– Это верно.

Помолчав, она добавила:

– Ты меня предупреждал... а я все же надеялась... Ну что ж, раз решено...

Оба не находили слов.

В глухом закоулке на зеленой просеке стало печально и тихо. Только луна кружила по траве тени от досок. Фигуры юноши и девушки, сидевших на надгробной плите в бледном свете луны, были неподвижны и безмолвны, как изваяния. Сильвер обнял Мьетту, и она прижалась к его плечу. Они не целовались, в их объятии была трогательная и чистая братская нежность.

Мьетта куталась в широкий коричневый плащ с капюшоном, который скрывал всю ее фигуру и спускался до самой земли. Видны были только голова и руки. Простолюдинки –

крестьянки и работницы – носят еще в Провансе такие широкие плащи; их называют здесь шубами, и мода на них восходит к незапамятным временам. Мьетта, придя на свидание, откинула капюшон. Она привыкла жить на вольном воздухе, кровь в ней кипела, и ей не нужны были головные уборы. Ее непокрытая голова резко выделялась на фоне белой от лунного света стены. Мьетта была еще девочкой, но девочкой, которая превращалась в женщину. Для нее наступила та чудесная пора, когда во вчерашнем подростке пробуждается девушка. В эту пору появляется нежность нераспустившегося цветка: незаконченность форм полна несказанной прелести; округлые и сладострастные линии уже намечаются в невинной худобе ребенка – в нем рождается женщина с ее первой целомудренной застенчивостью, она еще медлит расстаться с детским телом, но уже невольно каждая ее черта носит на себе отпечаток пола. Для иных девушек это неблагоприятная пора: они вытягиваются, дурнеют, становятся желтыми, хилыми, как распустившиеся до времени растения. Но для Мьетты, как и для всех девушек с горячей кровью, растущих на воле, это была пора волнующей, неповторимой грации. Мьетте минуло тринадцать лет. Хотя она была рослой и сильной для своего возраста, ей все же нельзя было дать больше – такой простодушной и ясной улыбкой освещалось ее лицо. Но она, вероятно, уже достигла зрелости, под влиянием климата и сурового образа жизни в ней быстро расцветала женщина. Мьетта была почти одного роста с Сильвером, крепкая и задорная, жизнь была в ней ключом. Как и ее друг, она не была хороша в общепринятом смысле этого слова. Правда, никто не назвал бы ее дурнушкой, но многим красивым молодым людям она показалась бы, по меньшей мере, странной. Волосы у нее были великолепные: черные как смоль, жесткие и прямые у лба, они поднимались подобно набегающей волне, струились по темени и затылку, как море, подернутое зыбью, волнующееся, непокорное, своевольное. Они были так густы, что Мьетта не могла с ними справиться. Она скручивала их жгутами толщиной в детский кулак, чтобы они занимали поменьше места на голове, и прикалывала на затылке. И хоть ей было не до причесок, этот узел, уложенный наспех и без зеркала, приобретал под ее пальцами какое-то особое изящество. Глядя на этот живой шлем, на эту массу кудрявых волос, выбивавшихся на висках и закрывавших шею, как звериная шкура, можно было понять, почему девушка ходит с непокрытой головой, не обращая внимания на дождь и стужу. Низкий лоб под темной чертой волос формой и золотистым оттенком напоминал полумесяц. Большие выпуклые глаза, короткий, чуть вздернутый нос, широкий у ноздрей, крупные, слишком алые губы – все эти черты в отдельности были бы нехороши, но в целом, на очаровательном округлом и подвижном лице, они производили впечатление своеобразной и яркой красоты. Когда Мьетта смеялась, запрокинув голову и томно склонив ее на правое плечо, она походила на античную вакханку своей грудью, трепещущей от звонкого смеха, детскими круглыми щеками, белыми крупными зубами, кудрями, которые развеивались вокруг головы и словно украшали ее венком из виноградных лоз. Чтобы снова увидеть в ней невинную девочку, тринадцатилетнего ребенка, надо было заметить, как чистосердечен этот звучный, ласкающий смех, и, главное, разглядеть, как детски нежны линии подбородка, как чисто и ясно ее чело. Загорелое лицо Мьетты порой отливало янтарем. Легкий черный пушок уже сейчас оттенял верхнюю губу. Грубая работа успела испортить маленькие руки, которые праздность могла бы превратить в прелестные пухлые ручки буржуазной дамы.

Мьетта и Сильвер долго сидели молча. Они угадывали тревожные мысли друг друга. Вместе они погружались в страшную неизвестность завтрашнего дня, и все теснее становилось их объятие. Они проникали друг другу в самое сердце; оба молчали, чувствуя, что жалоба, высказанная вслух, была бы ненужной жестокостью. Но Мьетта не могла больше сдерживаться; она задыхалась, и все, что волновало их обоих, выразила в нескольких словах.

– Ты вернешься, правда? – шепнула она, обвив рукой его шею.

Сильвер не отвечал, у него сжалось горло, и, боясь расплакаться, не найдя другого утешения, он поцеловал ее в щеку, как брат. Они отодвинулись друг от друга, и снова наступило молчание.

Вдруг Мьетта вздрогнула. Она не опиралась больше на плечо Сильвера и почувствовала, что все ее тело застыло от холода. Еще вчера она не дрожала бы в этом глухом углу, на этой надгробной плите, где, окруженные вечным покоем, под защитой мертвецов, они столько месяцев были счастливы своей любовью.

– Как холодно, – сказала она, накрывая голову капюшоном.

– Давай походим, – предложил Сильвер, – еще нет девяти, пройдемся по дороге.

Мьетта подумала, что теперь она надолго лишится радости свиданий, вечерних разговоров, ради которых она жила весь день.

– Хорошо, пойдем, – живо согласилась она, – мы можем дойти до мельницы. Я готова хоть всю ночь проходить, только бы ты захотел.

Они встали и вошли в тень за досками. Мьетта распахнула плащ на ярко-красной подкладке, простеганной мелкими ромбами, и накинула на плечи Сильвера теплую широкую полу, прикрыв его целиком, приблизив, прижав к себе. Они обнялись за талию и, слившись в единое существо, скрытое под складками плаща, который скрадывал очертания человеческого тела, медленно, мелкими шагами пошли по направлению к дороге, безбоязненно пересекая площадь, залитую бледным светом луны. Мьетта закутала Сильвера, и он принял это как нечто вполне естественное, словно плащ каждый вечер служил им такую службу.

Дорога в Ниццу, по обе стороны которой лежит предместье, в 1851 году была обсажена столетними вязами, древними великанами, еще могучими, источенными временем исполинскими деревьями; недавно муниципалитет, любитель порядка, вырубил их и заменил чахлыми платанами. Когда Сильвер и Мьетта шли под вязами, чудовищные ветви которых луна вырисовывала на земле, им два или три раза повстречались бесформенные фигуры, молча двигавшиеся вдоль домов. То были такие же, как они, влюбленные пары, закутанные в кусок ткани, укрывающие в тени свою любовь.

В южных городах влюбленные издавна изобрели такие прогулки. Парни и девушки, которые намерены со временем пожениться, а покуда не прочь поцеловаться, не знают, где бы им побыть наедине, не подавая повода к сплетням. Правда, родители предоставляют им полную свободу, но если бы они вздумали снять комнату в городе и встречаться там, то завтра же стали бы притчей всего края; с другой стороны, они не каждый вечер могут уходить далеко за город, в поля и луга. И вот они нашли выход: они бродят по предместью, по пустырям, по аллеям, всюду, где мало прохожих и много темных закоулков. Все местные жители знают друг друга в лицо, и потому из осторожности, чтобы стать неузнаваемыми, влюбленные скрываются под широкими плащами – под таким плащом могло бы укрыться целое семейство. Родители не возражают против этих прогулок во мраке; суровая провинциальная мораль терпит их: считается, что влюбленные не останавливаются в темных углах, не присаживаются в глухих закоулках – этого достаточно, чтобы успокоить встревоженное целомудрие; ведь на ходу можно только целоваться, не больше. Бывает, что с девушкой стряется беда, – значит влюбленные где-то присели.

По правде сказать, нет ничего очаровательнее этих любовных прогулок. В них выразилось веселое, изобретательное воображение Юга. Это настоящий маскарад, богатый мелкими радостями, доступный беднякам. Влюбленная девушка распахнет плащ – и вот готово убежище для любимого: она прячет его у сердца, как мещаночка прячет любовника под кроватью или в шкафу. Запретный плод становится особенно сладок: его вкушают на свободе среди равнодушных прохожих, на ходу, вдоль дороги. Влюбленные уверены в том, что они могут безнаказанно обниматься на людях, проводить весь вечер, прильнув друг к другу, не боясь, что их узнают и будут указывать на них пальцем. Это восхитительнее всего и придает волнующую

сладость поцелуям. Как хорошо превратиться в темную бесформенную фигуру, неотличимую от любой другой пары. Запоздавший прохожий видит, как мимо него движутся смутные силуэты, – это мелькнула любовь, и только, любовь безымянная, любовь угаданная, но неизвестная. Влюбленные знают, что они спрятаны надежно, они переговариваются шепотом, они у себя; но чаще всего они ничего не говорят, бродят целыми часами, счастливые тем, что прижимаются друг к другу, окутанные одной тканью. В этом много чувственного и много целомудренного. Главный виновник – климат; он-то и приучил влюбленных скрываться в закоулках предместья. В теплые летние ночи нельзя пройти по Плассану, не встретив в тени у каждой стены такую закутанную пару; в иных местах, например на площади Святого Митра, этих темных домино очень много; в теплые ясные ночи они проходят медленно, бесшумно, чуть задевая друг друга, как гости на призрачном балу, который дают звезды, праздная любовь бедняков. Когда наступает жара и девушки уже не носят теплых плащей, они прикрывают дружка широким подолом юбки. Зимой даже мороз не отпугивает тех, кто влюблен особенно сильно. Сильвер и Мьетта, идя по дороге в Ниццу, и не думали жаловаться на холодную декабрьскую ночь.

Молодые люди прошли через предместье, не обменявшись ни словом. С безмолвной радостью они вернулись к теплоте очарования объятия. Но в сердцах у обоих затаилась печаль: к блаженству, которое они испытывали, прижимаясь друг к другу, примешивалось мучительное предчувствие разлуки; им казалось, что они никогда не исчерпают всей сладости и всей горечи молчания, медленно баюкавшего их шаг. Но вот дома стали реже; влюбленные дошли до конца предместья, до ворот Жа-Мефрена – двух толстых столбов, соединенных решеткой, между прутьев которой виднелась длинная аллея тутовых деревьев. Проходя мимо ворот, Сильвер и Мьетта невольно оглянулись на усадьбу.

От Жа-Мефрена шоссе отлого спускается к равнине, по которой протекает Вьорна – летом она похожа на ручеек, зимой же превращается в бурный поток. В те годы двойной ряд вязов выходил за пределы предместья, превращая дорогу в великолепный проспект, который перерезал широкой аллеей гигантских деревьев поля и тощие виноградники, покрывающие склон. В эту декабрьскую ночь недавно вспаханные поля по обе стороны дороги казались в ясном, холодном сиянии луны пластами сероватой ваты, приглушавшей звуки, доносимые ветром. Лишь глухое журчание Вьорны нарушало беспредельный покой сельских просторов.

Когда молодые люди начали спускаться по аллее, мысли Мьетты вернулись к Жа-Мефрену, оставшемуся позади.

– Сегодня уйти было трудно, – сказала она. – Дядя не отпускал. Он заперся в погребе; наверно, деньги закапывал, потому что утром всполошился, когда услышал о том, что готовится.

Сильвер еще нежнее обнял ее.

– Ничего, – сказал он, – не падай духом. Настанет время, когда мы открыто будем встречаться днем... Не огорчайся.

Мьетта потрянула головой:

– Да, ты все надеешься... А мне порой так тоскливо бывает! И вовсе не от тяжелой работы; наоборот, я даже рада, когда дядя груб, когда он наваливает на меня работу. Он сделал из меня батрачку и правильно поступил. Еще неизвестно, что бы из меня вышло. Знаешь, Сильвер, я иногда думаю, что на мне лежит проклятие... Лучше бы умереть... Я все думаю о нем... ты знаешь о ком...

Рыдания прервали ее голос. Сильвер почти резко остановил ее:

– Перестань, ты же мне обещала больше не думать об этом. Твоей вины тут нет.

Потом добавил уже мягче:

– Ведь мы с тобой любим друг друга? Когда поженимся, все пройдет.

– Я знаю, – прошептала Мьетта, – ты добрый, ты хочешь меня поддержать. Но что поделаешь? Я чего-то боюсь, а иногда все во мне кипит, словно меня обидели, и я становлюсь злой.

Ведь я от тебя ничего не скрываю. Всякий раз, как меня попрекают отцом, я чувствую, что горю точно в огне. А когда мальчишки кричат мне вслед: «Эй ты, Шантегрей!» – я выхожу из себя. Я бы их растерзала.

Она мрачно замолчала, потом добавила:

– Ты мужчина, ты будешь стрелять из ружья... Тебе хорошо.

Сильвер дал ей высказаться. Пройдя несколько шагов, он грустно заметил:

– Ты не права, Мьетта, нехорошо, что ты сердишься. Не надо возмущаться против того, что справедливо. Я ведь иду сражаться за наши права, за всех нас, я не мстить иду.

– Все равно, – продолжала Мьетта, – я бы хотела быть мужчиной, стрелять из ружья. Право, мне стало бы легче.

Сильвер молчал, и она почувствовала, что он недоволен. Весь ее пыл погас. Она робко прошептала:

– Не сердись. Мне горько, что ты уходишь, оттого и лезут в голову такие мысли. Я знаю, ты прав. Мне надо смириться.

Она заплакала. Растроганный Сильвер взял ее руки и поцеловал их.

– Послушай, – сказал он нежно, – ты то сердишься, то плачешь, как маленькая. Будь умницей. Я не браню тебя... Я просто хочу, чтобы тебе было лучше, а ведь это во многом зависит от тебя.

Воспоминание о драме, о которой Мьетта говорила с такой болью, опечалило влюбленных. Несколько минут они шли опустив голову, взволнованные своими мыслями.

– Что же, ты думаешь, я много счастливее тебя? – спросил Сильвер, невольно возвращаясь к разговору. – Что бы случилось со мной, если бы бабушка не взяла меня и не воспитала? Только дядя Антуан, такой же рабочий, как я, говорил со мною и научил меня любить Республику, а все другие родственники боятся, как бы не запачкаться, когда я прохожу мимо.

Разгорячившись, он остановился посреди дороги, удерживая Мьетту.

– Видит Бог, – продолжал он, – во мне нет ни зависти, ни ненависти. Но если мы победим, я этим важным господам все выскажу. Дядя Антуан немало о них знает. Вот увидишь, дай только вернуться. Мы все будем жить счастливо и свободно.

Мьетта тихонько потянула его, и они продолжали путь.

– Как ты ее любишь, свою Республику! – сказала она как бы в шутку. – Наверное, больше, чем меня.

Она смеялась, но в ее смехе чувствовалась горечь. Вероятно, ей казалось, что Сильвер слишком легко расстанется с ней, отправляясь в поход. Но юноша серьезно ответил:

– Ты моя жена. Тебе я отдал сердце. А Республику я люблю, потому что люблю тебя. Когда мы поженимся, нам нужно будет очень много счастья. И вот за этим счастьем я и пойду завтра утром... Ведь ты же сама не захочешь, чтобы я остался?

– Нет, нет! – горячо воскликнула девушка. – Мужчина должен быть сильным. Как прекрасно быть храбрым! Не сердись, что я завидую. Мне бы хотелось быть такой же сильной, как ты. Тогда ты любил бы меня еще больше, правда?

И, помолчав, она воскликнула с прелестной живостью и простодушием:

– Ну и расцелую же я тебя, когда ты вернешься!

Этот крик любящего и мужественного сердца глубоко тронул Сильвера. Он обнял Мьетту и поцеловал ее в обе щеки. Девушка, смеясь, отворачивалась, глаза ее были полны слез.

Вокруг влюбленных в безмерно холодном покое спали поля. Сильвер и Мьетта дошли до середины склона. Слева возвышался холм, на вершине которого белели развалины ветряной мельницы, освещенные луной; уцелела только башня, обвалившаяся с одной стороны. Здесь они уговорились повернуть обратно. От самого предместья они ни разу не взглянули на окружающие их поля. Поцеловав Мьетту, Сильвер поднял голову. Он увидел мельницу.

– Как мы быстро шли, – воскликнул он, – вот и мельница! Должно быть, уже половина десятого. Пора домой.

Мьетта надула губки.

– Пройдем еще немного, – сказала она просящим тоном. – Только несколько шагов, до проселочной дороги. Правда, только туда.

Сильвер, улыбаясь, обнял ее, и они снова пошли вниз по дороге. Теперь уже нечего было бояться любопытных взглядов. За последними домами предместья им не встретилось ни души. Но они все еще закрывались плащом. Этот плащ, эта общая их одежда была словно естественной обителью их любви. Сколько счастливых вечеров провели они под ее покровом! Если бы они просто шли рядом, то чувствовали бы себя ничтожными, затерянными среди широкой равнины. Но им придавало уверенность и силу то, что они были слиты воедино. Раздвинув полы, они глядели на поля, расстилавшиеся по обе стороны дороги, не ощущая той угнетенности, которая охватывает человеческую душу среди бесстрастных, безбрежных просторов. Им казалось, что они одни в своем домике и любят природу, глядя в окно. Им нравилась мирная тишина, пелена спящего света, уголки природы, неясно выступающие из-под савана зимы и ночи, нравилась вся долина, которая очаровывала их, но такими чарами, что они не разъединяли сердца, прильнувшие друг к другу.

Оба молчали, не говорили больше о других, не говорили даже о себе. Они отдались мгновению, обмениваясь пожатием руки, отрывочным восклицанием, роняя порою слово, почти не слушая друг друга, усыпленные теплотой объятия. Сильвер забыл свой революционный энтузиазм, Мьетта не думала о том, что через какой-нибудь час возлюбленный покинет ее надолго, быть может навсегда. И как в обычные дни, когда разлука не омрачала радости их свиданий, они шли в блаженной дремоте, в любовном упоении.

Они всё шли. Скоро они достигли проселочной дороги, про которую говорила Мьетта, – она вела через поля к деревне на берегу Вьорны. Но они не остановились, а продолжали спускаться, будто не замечая того перекрестка, где собирались повернуть обратно. Только через несколько минут Сильвер тихо сказал:

– Должно быть, уж поздно. Ты устанешь.

– Нет-нет, честное слово, я совсем не устала, – ответила девушка. – Я могу пройти еще несколько миль.

Потом она добавила вкрадчивым голосом:

– Хочешь, дойдем до лугов Сент-Клер? А там уже конец. Оттуда повернем обратно.

Сильвер, убаюканный ее мерным шагом, дремавший с открытыми глазами, не возражал. Опять их охватило блаженство. Они шли медленно, боясь того мгновения, когда им придется возвращаться по этому же склону. Пока они шли вперед, им казалось, что они вечно будут идти вот так, обнявшись, слившись друг с другом. Обратный путь означал разлуку, мучительное расставание.

Спуск понемногу становился более отлогим. По всей долине до самой Вьорны, протекающей на другом ее конце, у подножия низких холмов раскинулись луга Сент-Клер, отделенные от дороги живой изгородью.

– Знаешь что, – воскликнул Сильвер в свою очередь, дойдя до первой полоски травы, – пройдем еще до моста.

Мьетта звонко рассмеялась. Она обхватила юношу за шею и громко поцеловала его.

В то время широкая аллея вязов оканчивалась у живой изгороди двумя большими деревьями, двумя исполинами, выше всех остальных. Луга, начинаясь у самой дороги, словно широкие полосы зеленой шерсти, тянулись до прибрежных ив и берез. От последних вязов до моста было не более трехсот метров. Влюбленные потратили добрых четверть часа, чтобы пройти это пространство. Наконец они все же очутились на мосту и остановились.

Перед ними на другом берегу поднималась по склону дорога в Ниццу. Им виден был лишь небольшой ее отрезок, потому что в полукилометре от моста она делает крутой поворот и теряется среди лесистых холмов. Обернувшись, они увидели другой конец ее – тот, по которому они только что прошли. В ярком свете зимней луны дорога казалась длинной серебряной лентой с темной каймой из вязов. Справа и слева, как серые туманные озера, широко раскинулись пашни.

Дорога, вся белая от инея, прорезала их сверкающей металлической лентой. Далеко вверху, у самого горизонта, сверкали, точно искры, освещенные окна предместья. Мьетта и Сильвер шаг за шагом незаметно отошли на целое лье. Они окинули взглядом пройденный путь и замерли в немом восторге, глядя на огромный амфитеатр, восходящий до самого неба; по нему, как по уступам гигантского водопада, струились потоки голубоватого света; он возвышался недвижно, в мертвом молчании, словно волшебная декорация грандиозного апофеоза. Ничто не могло быть величественнее этого зрелища.

Молодые люди облокотились на перила моста и взглянули вниз. Под их ногами глухо, непрерывно шумела Вьорна, вздувшаяся от дождей. Вверх и вниз по течению, между ложбинами, где тьма казалась еще гуще, можно было разглядеть темные силуэты прибрежных деревьев; кое-где лунный луч, скользя по воде, оставлял за собой струю расплавленного свинца, которая колыхалась, отсвечивая, как отблески на рыбьей чешуе. Эти блики придавали серой водяной пелене таинственную прелесть; они текли вместе с нею под неясными тенями листвы. Долина казалась зачарованным, сказочным царством, где тени и свет жили странной, призрачной жизнью.

Влюбленным это место было хорошо знакомо. В жаркие июльские ночи они часто спускались сюда, ища прохлады; здесь, на правом берегу, они проводили целые часы, спрятавшись под ивами, в том месте, где зеленые луга Сент-Клер подходят к самой воде.

Они знали все изгибы берега, знали, по каким камням надо ступать, чтобы перейти вброд Вьорну, летом узенькую, как нитка; знали лощинки, поросшие травой, где они сидели, забывшись в любовных мечтах. И теперь Мьетта с сожалением глядела на правый берег.

– Если б было тепло, – вздохнула она, – мы бы чуточку отдохнули внизу, а потом пошли бы обратно.

Она умолкла, потом, не отрывая глаз от берега, добавила:

– Посмотри, Сильвер, видишь, вон там что-то чернеет, перед шлюзом? Помнишь? Это кусты; под ними мы сидели с тобой в День Тела Господня.

– Да, те самые кусты, – тихо ответил Сильвер.

Там они впервые осмелились поцеловаться. Воспоминание пробудило в обоих сладостное волнение, и прежние радости сливались в нем с надеждами на будущее. Как при свете молнии, перед ними встали чудесные вечера, проведенные вместе, а тот праздничный вечер они помнили до мельчайших подробностей: глубокое ясное небо, прохлада в тени деревьев у Вьорны, ласковые слова. И по мере того, как в сердце вставало это милое, счастливое прошлое, перед ними открывалось будущее: им казалось, что мечта осуществилась, что они рука об руку идут по жизни, как шли сейчас по дороге, тепло закутанные плащом. Они восхищенно глядели друг другу в глаза и улыбались, забыв обо всем в эту безмолвную лунную ночь.

Вдруг Сильвер поднял голову. Он распахнул плащ и прислушался. Удивленная Мьетта последовала его примеру, хоть и не понимала, почему он отодвинулся от нее.

Какой-то неясный гул уже несколько мгновений доносился из-за холмов, среди которых терялась дорога в Ниццу. Казалось, где-то вдаль с грохотом несутся телеги. Плеск реки заглушал эти неясные звуки, но постепенно они усиливались и походили теперь на топот приближающегося войска. Гул нарастал, и уже слышались многоголосые крики толпы, мерно чередуясь, доносились порывы бури; казалось, вспыхивают зарницы, надвигается гроза и ее приближение тревожит сонный воздух. Сильвер слушал и не мог уловить голоса урагана, терявшиеся

за холмами. Вдруг из-за поворота показались черные вереницы людей. Загремела Марсельеза, величественная, непримиримая, призывающая к мщению.

– Они! – закричал Сильвер, не помня себя от радости и восторга.

И он пустился бежать, увлекая за собой Мьетту. Слева поднимался откос, поросший дубами. Сильвер взобрался на него вместе с девушкой, боясь, чтобы их не увлек за собой ревущий людской поток.

Очутившись на откосе, в тени кустов, Мьетта, бледная, стала тревожно всматриваться в толпу. Одного лишь пения этих людей было достаточно, чтобы вырвать Сильвера из ее объятий. Ей казалось, что толпа встала между ними. Только что они были так счастливы, связаны так тесно, далеки от всего мира, затеряны в необъятном молчании, в бледном свете луны! А теперь Сильвер отвернулся от нее, забыл, что она тут, не видит ничего, кроме этих чужих людей, которых называет братьями.

Толпа надвигалась в мощном, неудержимом порыве. Грозным и величественным было это вторжение многих тысяч людей в мертвенный ледяной покой безбрежного горизонта. Дорога превратилась в поток, волна шла за волной, и казалось, им не будет конца. Из-за поворота появлялись все новые и новые черные вереницы, и пение их присоединялось к громовому голосу человеческой бури. Когда появились последние батальоны, раздался оглушительный раскат. Марсельеза заполнила небо – как будто гиганты трубили в исполинские трубы, и песня трепетала, звенела медью, перелетая от края до края долины. Сонные поля сразу проснулись, вздрогнули, точно барабан под ударами палочек, откликнулись из самых недр своих, и эхо подхватило пламенный напев национального гимна. Пела теперь не только толпа: до самого горизонта – на далеких утесах, на пашнях и лугах, в рощах и зарослях – чудились человеческие голоса, весь огромный амфитеатр от реки до Плассана, весь этот гигантский водопад, по которому струилось голубоватое сияние, словно покрыт был несметной, невидимой толпой, приветствующей повстанцев. Казалось, в заводях Вьорны, на берегах, у воды, покрытой таинственными струями расплавленного свинца, нет ни единого темного уголка, где не укрывались бы люди, которые с гневной силой подхватывали припев. Поля взывали о мщении и свободе, потрясая воздух и землю. И все время, пока войско спускалось по склону, ропот толпы разносился волнами, с внезапными раскатами, от которых содрогались даже булыжники на дороге.

Сильвер, побледнев от волнения, слушал и смотрел не отрываясь. Первые повстанцы быстрым шагом приближались к мосту; за ними, колыхаясь, с шумом и грохотом тянулся длинный людской поток, чудовищно бесформенный во мраке.

– Я думала, – прошептала Мьетта, – что вы не пройдете через Плассан.

– Наверно, изменили план похода, – ответил Сильвер. – Мы должны были идти по Тулонской дороге влево от Оршера и Плассана. Они, вероятно, днем вышли из Альбуаза, а вечером прошли Тюлет.

Колонна поравнялась с Сильвером и Мьеттой. В маленькой армии оказалось больше порядка, чем можно было ожидать от сборища необученных людей. Повстанцы каждого города, каждого селения объединялись в отдельные батальоны, которые шли на небольшом расстоянии друг от друга. По-видимому, каждый батальон подчинялся своему начальнику, но порыв, который увлекал их сейчас вниз по склону холма, спаял всех в единое крепкое целое, несущее в себе несокрушимую силу. Их было более трех тысяч. Ветер гнева соединил их и увлек за собой. Тень, падавшая на дорогу от высокой насыпи, мешала разглядеть подробности этого необычайного зрелища. Но в нескольких шагах от кустов, где скрывались Мьетта и Сильвер, откос обрывался, пропуская тропинку к берегу Вьорны, и лунные лучи, скользя через этот пролет, бросали на дорогу широкую полосу света. Первые отряды вступили в нее, и вдруг резкий белый свет необычайно четко обрисовал мельчайшие черточки лиц и детали одежды. Перед Сильвером и Мьеттой проходили грозные бесчисленные батальоны, внезапно возникая из мрака.

Когда появился первый, Мьетта инстинктивно прижалась к Сильверу, хотя и чувствовала себя в безопасности, зная, что ее никто не может увидеть. Она обвила его шею рукой, прислонилась головой к его плечу. Ее щеки, обрамленные капюшоном, были бледны, она стояла прямо, устремив глаза на полосу света, в которой мелькали необычайные, преображенные душевным подъемом лица, чернели открытые рты, из которых неслись звуки Марсельезы, призывающей к мщению.

Сильвер, дрожа, нагнулся к уху Мьетты и стал называть батальоны, проходившие перед ними.

Колонна шла рядами по восемь человек. Впереди шагали рослые парни с квадратными головами, по-видимому отличавшиеся богатырской силой и простодушной доверчивостью великанов. В них Республика нашла слепых, бесстрашных защитников. На плече у каждого был большой топор, и отточенные лезвия сверкали в лунном свете.

– Лесорубы из Сейских лесов, – сказал Сильвер, – из них сформирован отряд саперов... Дай им только знак, и они двинутся прямо на Париж, снесут городские ворота, как дубы в Сейских лесах.

Юноша, видимо, гордился огромными кулаками своих братьев. Увидев, что за лесорубами идет группа рабочих и загорелых людей с лохматыми бородами, он продолжал:

– А вот отряд из Палю. Этот город восстал первым. Вот те, в блузах, деревообделочники – они обрабатывают пробковый дуб, а те, что в бархатных куртках, должно быть, охотники и угольщики из Сейских ущелий... Охотники, наверно, знают твоего отца, Мьетта. У них хорошее оружие, и они умеют с ним обращаться. Ах, если бы все были так вооружены! У нас не хватает ружей. Смотри, у рабочих одни только дубины.

Мьетта молча глядела, молча слушала. Когда Сильвер упомянул об ее отце, вся кровь хлынула к щекам девушки. Она глядела на охотников с гневом, но и с какой-то странной симпатией. Ее лицо пылало. С этого момента и ее начало охватывать лихорадочное возбуждение, которое несло с собою пение повстанцев.

Колонна снова запела Марсельезу; люди шли быстро, точно подгоняемые порывами холодного ветра. Повстанцев Палю сменила другая группа рабочих, среди которых было довольно много буржуа, одетых и пальто.

– Сен-Мартен-де-Во, – сказал Сильвер. – Они восстали вместе с Палю. Хозяева идут рядом с рабочими. Тут немало богатых людей, Мьетта; богатые могли бы спокойно сидеть дома, а они рискуют жизнью, борясь за свободу... Таких надо любить... У многих не хватает оружия. Смотри, всего несколько охотничьих одностволок... Видишь, Мьетта, людей с красной повязкой на левой руке? Это командиры.

Но Сильвер не успевал перечислять отряды, они опережали его слова. Пока он говорил о Сен-Мартен-де-Во, уже два новых батальона успели пересечь полосу белого света.

– Видела? – спросил он. – Прошли повстанцы из Альбуаза и Тюлета. Я узнал кузнеца Бюрга... Они, наверно, присоединились сегодня. Как они спешат!

Теперь и Мьетта нагнулась вперед, чтобы дольше не терять из виду маленький отряд, который называл Сильвер. Волнение овладело ею, оно закипало в груди и перехватывало горло. В это время показался новый батальон, более многочисленный, лучше обученный, чем остальные. В нем почти все повстанцы были одеты одинаково – в синие блузы с красными поясами. Посредине ехал всадник с саблей. У большинства этих импровизированных солдат были ружья – карабины или старинные мушкеты национальной гвардии.

– Не знаю, кто они, – сказал Сильвер. – Вон тот, на лошади, наверно, командир; мне о нем говорили. Он привел с собой батальоны из Фавероля и соседних сел. Если бы можно было одеть так всю колонну!

Он быстро перевел дух.

– А вот и деревни пошли! – воскликнул он.

За фаверольцами шли маленькие группы, человек по десять, по двадцать, не больше. Все они были в коротких куртках, какие носят крестьяне на Юге. Они пели, потрясая вилами и косами; у некоторых были просто огромные заступы землекопов. Деревни выслали всех своих здоровых мужчин.

Сильвер узнавал отряды по начальникам и перечислял их взволнованным голосом:

– Отряд из Шаваноза – всего восемь человек, но какие молодцы!.. Дядя Антуан знает их... А вот Назер, вот Пужоль. Все пришли, все откликнулись... Валькерас... Смотри-ка, даже кюре с ними. Мне рассказывали про него. Он честный республиканец.

У Сильвера кружилась голова. Теперь, когда в отрядах насчитывалось лишь по несколько человек, ему приходилось спешить, и он был в каком-то исступлении.

– Ах, Мьетта! – продолжал он. – Какое прекрасное шествие! Роза́н, Верну, Корбьер!.. И это не все, ты сейчас увидишь!.. У них одни только косы, но они скосят солдат, как траву на лугах. Сент-Этроп, Мазе, Ле-Гард, Марсан, вся северная сторона Сея!.. Ну конечно, мы победим. Вся страна с нами! Взгляни на их руки. Черные, крепкие, как железо... Конца не видно... Вот Прюина, Рош-Нуар. Это контрабандисты, у них карабины... А вот опять пошли косы и вилы. Опять деревенские отряды. Кастель-ле-Вье! Сент-Анн! Грай! Эстурмель! Мюрдаран!

Сдавленным от волнения голосом Сильвер перечислял группы людей, а они исчезали, пока он их называл, будто подхваченные, унесенные вихрем. Он словно вырос, лицо его пылало, он показывал на отряды, и Мьетта следила за нервными движениями его руки. Она чувствовала, что дорога под откосом притягивает ее, как пропасть. Боясь оступиться, она ухватилась за шею Сильвера. Что-то захватывающее, опьяняющее исходило от толпы, воодушевленной решимостью и верой. Люди, мелькавшие в лунном луче, юноши, мужчины, старики, потрясающие странным оружием, одетые в самые разнообразные одежды – тут были и блузы чернорабочих, и сюртуки буржуа, – вся эта бесконечная колонна, эти лица, которым ночная пора и вся обстановка придавали необычайную выразительность, которые запечатлевались в памяти своей фанатической решимостью и восторженностью, представлялись девушке неудержимым, стремительным потоком. Были мгновения, когда ей казалось, что не они идут, а Марсельеза уносит их, что их увлекают грозные раскаты могучего пения. Мьетта не могла разобрать слов, она слышала только непрерывный гул, который переходил от низких нот к высоким, дрожащим, тонким, как острия, и эти острия как будто впивались ей в тело. Громовые возгласы, призыв к борьбе и смерти, взрывы гнева, безудержное стремление к свободе, удивительное сочетание жажды разрушения с благороднейшими порывами поражали ее в самое сердце и, нарастая, проникали все глубже, причиняли ей сладостную боль, как мученице, которая улыбается под ударами бича. Людские волны текли вместе с потоком звуков. Батальоны проходили всего лишь несколько минут, но Сильверу и Мьетте шествие казалось бесконечным.

Мьетта была еще ребенком. Она побледнела, увидев войско, она оплакивала утраченные радости, но ее страстная, пылкая натура легко загоралась энтузиазмом. Волнение овладело ею, переполняло ее. Она словно превратилась в юношу. С какой радостью взяла бы она ружье и пошла за повстанцами! Она смотрела на мелькавшие перед ней ружья и косы, яркие губы ее раскрылись, обнажив острые зубы, как у волчонка, готового укусить. Сильвер все быстрее и быстрее перечислял деревенские отряды, и ей чудилось, что с каждым его словом колонна все стремительнее движется вперед. Скоро она превратилась в буйный вихрь, в тучу пыли, взметенную ураганом. Все закружилось. Мьетта закрыла глаза. Крупные, горячие слезы текли по ее щекам. У Сильвера тоже к глазам подступили слезы.

– Что-то не видно наших, а они ведь сегодня вышли из Плассана, – прошептал он.

Он всматривался в хвост колонны, еще терявшийся в тени. И вдруг торжествующе закричал:

– Вот они... Они несут знамя, им доверили знамя!

Он начал было спускаться с откоса, спеша присоединиться к своим, но в это время повстанцы остановились. Вдоль колонны передавали приказ. Отзвучал последний раскат Марсельезы, и теперь слышался только неясный гул взволнованной толпы. Сильвер прислушался и разобрал слова приказа, передававшегося от отряда к отряду: плассанцев призывали стать во главе колонны. Батальоны расступились, пропуская вперед знамя. Сильвер, держа Мьетту за руку, стал взбираться обратно на откос.

– Идем, – сказал он, – мы раньше их добежим до моста и встретим их с другой стороны.

Взобравшись наверх, к пашням, они побежали к мельничной плотине, перешли Вьорну по доске, положенной мельником, и бегом пустились напрямик через луга Сент-Клер, держась за руки, не говоря ни слова. По широкой дороге темной лентой извивалась колонна, и они следовали за ней вдоль живой изгороди. Кусты боярышника местами обрывались, и сквозь один из таких просветов Мьетта и Сильвер выбрались на дорогу.

Несмотря на сделанный ими обход, они пришли одновременно с плассанцами. Сильвер пожимал приятелям руки. Вероятно, они решили, что он узнал об изменении маршрута и вышел их встретить. На Мьетту, лицо которой было полузакрыто капюшоном, поглядывали с любопытством.

– Да ведь это Шантегрей, – сказал кто-то из жителей предместья, – племянница Ребюфа, кожевника из Жа-Меффрена.

– Ты чего тут шляешься? – крикнул другой.

Сильвер в волнении не подумал о том, в какое неловкое положение может попасть Мьетта, если над ней начнут подшучивать рабочие. Девушка растерянно смотрела на него, как бы ища помощи и поддержки. Но не успел он ответить, как в толпе раздался чей-то грубый голос:

– Ее отец на каторге. Нам не нужна дочь вора и убийцы.

Мьетта побледнела.

– Неправда! – сказала она. – Мой отец убил, но не воровал.

И, видя, что Сильвер, побледнев от гнева, сжимает кулаки и дрожит сильнее, чем она, Мьетта добавила:

– Оставь, это касается только меня.

И, обратясь к толпе, громко крикнула:

– Вы лжете, лжете!.. Он не украл ни единого су. Вы это знаете. Зачем же вы его оскорбляете, ведь он не может себя защитить!

Она выпрямилась во весь рост в великолепном порыве негодования. Ее страстная, мятежная натура довольно спокойно воспринимала обвинение в убийстве, но то, что отца обвиняли в воровстве, приводило ее в ярость. Все это знали, и потому люди с бессмысленной жестокостью чаще всего бросали ей в лицо именно такое обвинение.

Человек, назвавший ее отца вором, повторил сейчас то, о чем говорилось уже много лет. Гнев Мьетты вызвал смех. Сильвер стоял, сжимая кулаки. Дело могло плохо кончиться, не вступись за девушку охотник из Сея, присевший отдохнуть на кучу камней.

– Она правильно говорит, – сказал он, – Шантегрей был из наших. Я его знаю. Дело это запутанное. Я, например, верю тому, что он сказал на суде. Он застрелил жандарма на охоте, но жандарм-то сам целился в него из карабина. Всякий на месте Шантегрея стал бы защищаться. Но Шантегрей – честный человек, Шантегрей не воровал.

Как всегда в таких случаях, достаточно было вступить одному, чтобы нашлись и другие защитники. Оказалось, что многие рабочие тоже знали Шантегрея.

– Да-да, это правда, – подхватили они. – Он не вор. А сколько в Плассане мерзавцев, которых стоило бы послать на каторгу вместо него... Шантегрей наш брат. Успокойся, девочка, успокойся.

Никогда еще Мьетта не слышала доброго слова о своем отце. Обычно его называли при ней бродягой, негодяем, а тут вдруг люди находили для него слова оправдания, утверждали, что он честный человек. Мьетта расплакалась, ее охватило то же волнение, от которого у нее сжималось горло при звуках Марсельезы. Ей захотелось отблагодарить этих людей, которые жалеют обездоленных. Сначала у нее мелькнула мысль по-мужски пожать руку каждому, но сердце подсказало иное. Рядом с ней стоял повстанец, державший знамя. Она дотронулась до древка и вместо благодарности сказала умоляющим голосом:

– Дайте мне знамя. Я понесу его.

Рабочие, люди простые сердцем, поняли наивное благородство этого порыва.

– Верно! – закричали они. – Пусть дочка Шантегрея несет знамя.

Кто-то из лесорубов заметил было, что она скоро устанет и долго не пройдет.

– Нет, я крепкая, – гордо заявила Мьетта и, засучив рукава, показала свои округлые руки, сильные, как у взрослой женщины.

Ей подали знамя.

– Подождите! – крикнула она.

Сбросив плащ, она вывернула его наизнанку и накинула на плечи красной подкладкой кверху. Освещенная белым светом луны, она стояла перед толпой словно в широкой пурпурной мантии, спадавшей до земли. Капюшон зацепился за прическу, и казалось – на голову надет фригийский колпак. Мьетта взяла знамя, выпрямилась и прижала древко к груди. Складки кроваво-красного стяга развевались у нее за спиной, ее детское вдохновенное лицо в ореоле кудрявых волос, с большими влажными глазами и улыбающимся полуоткрытым ртом было гордо и решительно поднято к небу. В это мгновение она казалась олицетворением девственной Свободы.

Толпа повстанцев рукоплескала. Южане с присущим им пылким воображением были захвачены, потрясены внезапным появлением высокой девушки в красном плаще, страстно прижимающей к груди их знамя. В отряде послышались возгласы:

– Браво, Шантегрей! Да здравствует Шантегрей! Пусть останется с нами! Она принесет нам счастье!

Они еще долго кричали бы, но раздался приказ о выступлении. Колонна тронулась, и Мьетта, сжав руку Сильвера, стоявшего рядом с ней, шепнула ему на ухо:

– Ты слышишь? Я остаюсь с тобой. Хочешь?

Сильвер молча ответил на ее пожатие. Он соглашался. Он был глубоко потрясен, всеобщее воодушевление захватило его, Мьетта казалась ему такой прекрасной, такой великой, такой святой! И, поднимаясь по склону, он не отрываясь смотрел на нее, сияющую, озаренную славой. Она была для него образом другой его возлюбленной – образом обожаемой Республики. Ему хотелось поскорее дойти до города, скорее вскинуть на плечо ружье, но повстанцы шли медленно. Был дан приказ производить как можно меньше шума. Колонна двигалась по аллее вязов, извиваясь, как огромная змея. Морозная декабрьская ночь стала опять безмолвной. И только Вьорна, казалось, рокотала еще громче.

Когда поравнялись с первыми домами предместья, Сильвер побежал за ружьем на площадь Святого Митра. Она все так же дремала в лунном сиянии. Повстанцев он догнал уже у Римских ворот. Мьетта нагнулась к нему и сказала с детской улыбкой:

– Мне кажется, что это крестный ход и я несу хоругвь.

II

Плассан – супрефектура, насчитывающая около десяти тысяч жителей. Город построен на плоскогорье над Вьорной; на севере он упирается в Гарригские горы – последние отроги Альп – и лежит словно в тупике. В 1851 году его соединяли с внешним миром всего лишь две шоссейные дороги: одна, на востоке, спускалась по склону горы к Ницце, другая, на западе, поднималась на Лион, продолжая первую почти по прямой линии. Позднее в Плассан провели железную дорогу: полотно ее проходит с южной стороны, у подножия крутого холма, круто обрывающегося от старинного крепостного вала к реке. При выходе с вокзала, расположенного на правом берегу бурной речки, можно, подняв голову, увидеть первые дома Плассана и сады, нависающие террасами. Но чтобы дойти до этих домов, надо подниматься добрых пятнадцать минут.

Лет двадцать тому назад, вероятно из-за отсутствия путей сообщения, в Плассане еще царил ханжески-аристократический дух, присущий старым городам Прованса. В нем был, да, впрочем, сохранился еще и до сих пор, целый квартал больших особняков, построенных при Людовике XIV и Людовике XV, с десятков церквей, несколько домов иезуитов и капуцинов, изрядное количество монастырей. В Плассане классовые различия долгое время определялись кварталами города. Этим кварталов три, и каждый образует обособленный, самостоятельный городок, со своими церквями, своими местами для прогулок, своими нравами и своими интересами.

Дворянский квартал, называемый по одному из своих приходов кварталом Святого Марка, – это маленький Версаль, с прямыми улицами, поросшими травой, и с большими квадратными домами, за которыми скрываются обширные сады. Он расположен на южной стороне плоскогорья; некоторые особняки выстроены на самом краю склонов, спускающихся террасами, откуда открывается вид на всю долину Вьорны – великолепный пейзаж, прославленный во всем крае. На северо-западе, в старом квартале – прежнем городе, – поднимаются уступами узкие извилистые улицы с ветхими домами; тут мэрия, городской суд, рынок, жандармерия; в этой части Плассана, самой населенной, живут рабочие, торговцы, всякий мелкий люд, трудовой и нищий. И наконец, на северо-востоке длинным прямоугольником расположен новый город; тут живет буржуазия – все те, кто по грошам сколотил состояние, а также люди свободных профессий; дома их выстроены в ряд и окрашены в светло-желтый цвет. Этот квартал, украшением которого служит супрефектура – безобразное, оштукатуренное здание с лепными розетками, – насчитывал в 1851 году всего пять-шесть улиц. Он возник недавно, и только он один склонен разрастаться, особенно после постройки железной дороги.

В наши дни Плассан разделяется на три независимые, четко разграниченные части еще и потому, что каждый квартал отделен от остальных широкой улицей. Проспект Совер, который переходит в узкую Римскую улицу, идет с запада на восток, от Главных ворот до Римских ворот, разрезая город надвое, и отделяет дворянский квартал от двух остальных; а те, в свою очередь, разделены улицей Банн, самой красивой в Плассане; улица Банн начинается от проспекта Совер и поднимается к северу; слева от нее темными горами разбросаны особняки старого квартала, а справа тянутся желтые здания нового города. Почти на середине улицы, на маленькой площади, обсаженной чахлыми деревьями, возвышается супрефектура – гордость плассанских буржуа.

Словно чтобы отгородиться от всего света, крепче замкнуться в своих стенах, Плассан окружен старинным крепостным валом, от которого город кажется еще более мрачным и тесным. Достаточно ружейного залпа, чтобы разрушить его нелепые укрепления, не выше и не толще монастырской стены, покрытые плющом, поросшие диким левкоем. В крепостном валу имеются выходы, главные из них – Римские ворота и Главные ворота. Римские ворота выводят

на дорогу в Ниццу, а Главные – в другом конце города – на Лионскую дорогу. До 1853 года еще были целы эти огромные, закругленные сверху деревянные ворота, окованные железом. Летом в одиннадцать, а зимой в десять часов вечера их запирали на двойные запоры. И город, запершись, словно пугливая девица, засыпал спокойным сном. Сторож, живший в маленькой будке у ворот, обязан был отпирать их запоздавшим горожанам. Но каждый раз велись долгие переговоры. Сторож никого не впускал, не осветив прибывшего фонарем и не рассмотрев внимательно через окошечко: кто ему не нравился, мог ночевать за воротами. Дух города, вся его трусость, эгоизм, косность, ненависть ко всему, проникающему извне, его ханжество и стремление к замкнутой жизни выразились в этом ежедневном замыкании ворот двойным поворотом ключа.

Плассан, запершись крепко-накрепко, говорил: «Я у себя» – с удовлетворением набожного буржуа, который отправляется на покой и, прочтя молитвы, с наслаждением заваливается в постель, не опасаясь за свой сундук, уверенный, что ничто не потревожит его сон. Мне кажется, нет другого города, который так долго и так упорно запирался бы на ночь, точно монастырь.

Население Плассана делится на три группы: сколько кварталов, столько отдельных мирков. Чиновников считать нечего: супрефект, сборщик податей, хранитель закладных, почтмейстер – все это люди пришлые; их не любят, им завидуют, и они живут, как им вздумается. Что же касается коренных жителей, тех, кто вырос здесь и здесь же намерен умереть, то они так глубоко чтут унаследованные обычаи и установленные разграничения, что спешат примкнуть к тому или иному общественному кругу.

Дворяне отделились от всех неприступной стеной. После падения Карла X¹ они редко выходят из дому, спешат вернуться в свои мрачные особняки, проходят украдкой, как во вражеском стане. Они ни у кого не бывают и никого не принимают, даже людей своего круга. Только священники частые гости в их салонах. Лето дворяне проводят в своих усадьбах, зимой сидят у камина. Это живые мертвецы, которым надоело жить. В их кварталах царит гнетущий покой кладбища. Двери и окна домов тщательно заперты, можно подумать, что это монастыри, отрешенные от мирской суеты; изредка по улице проходит аббат; его крадущаяся походка как будто подчеркивает тишину, нависшую над запертыми домами; двери приотворяются, и он исчезает как тень.

Буржуазия – отошедшие от дел коммерсанты, адвокаты, нотариусы, весь тщеславный, зажиточный мирок нового города – пытается внести в жизнь Плассана некоторое оживление. Они ходят на вечера к господину супрефекту и мечтают сами давать такие же балы. Они ищут популярности, говорят рабочим «дружище», толкуют с крестьянами об урожае, читают газеты и по воскресеньям отправляются с супругами на прогулки. Это местные передовые умы; только они одни осмеливаются подтрунивать над городским валом и неоднократно требовать, чтобы плассанские власти снесли крепостные стены, «эти пережитки прошлого». Но даже самые заядлые скептики испытывают сильное и приятное волнение, когда какой-нибудь маркиз или граф удостоит их легким поклоном. Мечта каждого буржуа нового города – быть допущенным в салоны квартала Святого Марка. Они прекрасно понимают, что мечта эта неосуществима, и поэтому во всеуслышание именуют себя «свободомыслящими» людьми; однако на деле эти вольнодумцы весьма почитают власти и готовы кинуться в объятия первого попавшегося спасителя при малейшем ропоте народа.

Население, которое трудится и прозябает в старом квартале, менее характерно. Там преобладает простой люд, рабочие, но есть и купцы, и даже несколько крупных коммерсантов. Плассан отнюдь не коммерческий центр; вся его торговля сводится к сбыту местных продуктов: прованского масла, вина, миндаля. Промышленность же представлена тремя-четырьмя

¹ Карл X – французский король; был свергнут Июльской революцией 1830 года.

кожевенными заводами, распространяющими зловоние на одной из улиц старого квартала, да несколькими фабриками фетровых шляп и мыловаренным заводом в предместье. Торговцы и фабриканты хоть и общаются по большим праздникам с буржуа нового города, но почти вся жизнь их проходит среди рабочих старого квартала. Мелкие торговцы, рабочие тесно связаны общностью интересов. Только по воскресеньям хозяева наряжаются по-праздничному и держатся особняком. Впрочем, рабочие составляют всего лишь пятую часть населения и теряются среди досужих людей.

Летом жители всех трех кварталов Плассана встречаются раз в неделю лицом к лицу. По воскресеньям после обедни весь город выходит погулять на проспект Совер, даже дворяне. Но и на проспекте, представляющем собой нечто вроде бульвара с двумя платановыми аллеями, образуются три отдельных потока.

Буржуа нового города появляются только мимоходом: они выходят через Главные ворота, сворачивают вправо на улицу Майль и расхаживают там до наступления темноты, а дворяне и простой народ гуляют по проспекту Совер. Больше ста лет назад дворяне избрали аллею, которая проходит по южной стороне бульвара, вдоль ряда особняков, откуда раньше уходит солнце. Простой народ довольствуется северной аллеей – той стороной, где находятся кафе, рестораны, табачные киоски. Целый день простонародье и аристократы разгуливают взад и вперед, вверх и вниз по проспекту, и никогда ни одному рабочему, ни одному дворянину не приходит в голову перейти на другую сторону. Их разделяют шесть или восемь метров, но между ними тысячи лье, и они строго придерживаются параллельных линий, которым не суждено соединиться в этом мире. Даже во времена революции они не переходили на чужую аллею. Традиционные воскресные прогулки, ежедневный поворот ключа в городских воротах – явления одного порядка, по которым можно судить о десяти тысячах жителей города.

В этой своеобразной среде до 1848 года прозябала малопочтенная и малоуважаемая семья, главе которой, Пьеру Ругону, суждено было в будущем благодаря исключительным обстоятельствам сыграть весьма важную роль.

Пьер Ругон был сыном крестьянина. Его родным со стороны матери, Фукам, как их называли, в конце прошлого столетия принадлежала большая усадьба в предместье, за старым кладбищем Святого Митра. Впоследствии этот участок присоединили к Жа-Мефрену. Фуки были самыми богатыми огородниками во всей округе: они поставляли овощи целому кварталу Плассана. Их род угас за несколько лет до революции. Осталась в живых единственная дочь Фуков, Аделаида, родившаяся в 1768 году. К восемнадцати годам она оказалась круглой сиротой – ее отец умер в сумасшедшем доме. Девушка была высокой, худой, бледной, с растерянным выражением лица и странными манерами. В детстве ее считали просто дичком. Но с годами ее странности усилились, а некоторые поступки были так нелепы, что им не могли найти разумного объяснения даже люди, слышавшие в предместье мудрецами. Скоро начали поговаривать, что она, как и ее отец, не в своем уме. Через полгода после того, как Аделаида осталась одна на свете, унаследовав состояние, делавшее ее богатой невестой, разнесся слух, что она вышла замуж за огородника по фамилии Ругон, неотесанного мужика родом из Нижних Альп. Последний из Фуков нанял его на лето; Ругон остался работать у дочери умершего, и вот батрак неожиданно занял завидное положение мужа хозяйки. Замужество Аделаиды было событием, поразившим общественное мнение; никто не мог понять, почему она избрала грубого, неуклюжего, нескладного бедняка, который с трудом говорил по-французски, а не кого-нибудь из сынков зажиточных землевладельцев, уже давно увивавшихся вокруг нее. В провинции ничто не может оставаться без объяснения, и все решили, что здесь скрывается какая-то тайна, утверждали даже, что свадьба была вызвана неотложной необходимостью. Но факты опровергли клевету. Аделаида родила сына через год после свадьбы. Кумушки были недовольны: они не хотели сознаться, что ошиблись, и решили во что бы то ни стало раскрыть пресловутую тайну. Начали следить за Ругонами и скоро получили обильную пищу для пересудов. Через год и три

месяца после женитьбы Ругон скоропостижно скончался от солнечного удара, полученного в жаркий полдень, когда он полел морковь на огороде.

Не прошло и года, как поведение молодой вдовы вызвало неслыханную шумиху в предместье. Стало известно, что Аделаида завела любовника; да она, видимо, и не скрывала этого. Многие слышали, как она открыто говорила «ты» преемнику несчастного Ругона. Как! Не пробыть вдовой даже года и уже завести себе любовника! Такое пренебрежение всеми приличиями казалось чудовищным безрассудством, бесстыдством. Но возмутительнее всего был странный выбор Аделаиды. В те времена в конце тупика Святого Митра, в лачуге, которая выходила задней стеной на участок Фуков, жил человек, пользовавшийся дурной славой, известный по прозвищу Маккар-бродяга. Маккар исчезал иногда на целые недели и в один прекрасный день снова появлялся как ни в чем не бывало, шел, засунув руки в карманы, насвистывал, как будто возвращался с прогулки. Женщины, сидя у дверей, оглядывали его, когда он проходил мимо, и перешептывались: «Смотри-ка! Маккар-бродяга объявился. Наверно, припрятал ружье и мешок где-нибудь в яме на Вьорне». Все знали, что Маккар, не имея никаких доходов, ел, пил и пребывал в блаженной праздности во время своих недолгих побывок в городе. Пил он с каким-то остервенением; все вечера проводил в кабаке, сидя в одиночестве за столиком, тупо уставившись глазами в стакан, ничего не видя и не слыша кругом. Когда трактирщик запирали двери, Маккар уходил твердым шагом, смело подняв голову, как будто хмель придавал ему бодрости. «Маккар что-то уж чересчур прямо идет, должно быть, пьян мертвецки», – говорили прохожие, глядя, как он возвращается домой. В трезвом виде он шел согнувшись и с какой-то угрюмой застенчивостью избегал любопытных взглядов.

После смерти отца, рабочего с кожевенного завода, оставившего в наследство сыну только домишко в тупике Святого Митра, у Маккара не оказалось ни друзей, ни родных. Близость границы и Сейских лесов превратила этого ленивого, чудаковатого парня в контрабандиста и браконьера – в одну из тех подозрительных личностей, о которых прохожие говорят: «Не хотел бы я встретить такую рожу ночью в лесу». Женщинам предместья этот высокий бородастый человек с испитым лицом казался страшилищем; они утверждали, что он живьем пожирает младенцев. В тридцать лет ему можно было дать пятьдесят. На лице его, заросшем бородой, из-под длинных волос, кудлатых, как шерсть у пуделя, блестели карие бегающие глаза, печальные глаза прирожденного бродяги, ожесточенного пьянством и жизнью отверженного. Никто не мог бы сказать, в чем же его преступление, но стоило случиться краже или убийству, как первое подозрение тотчас же падало на него. И этот людоед, разбойник, бродяга Маккар оказался избранником Аделаиды! За год и восемь месяцев у них родилось двое детей – сын и дочь. Вопрос о женитьбе даже и не поднимался. Никогда еще предместье не видывало такого наглого бесстыдства. Общее удивление было так велико, а сама мысль о том, что Маккару удалось найти себе молодую богатую любовницу, до того перевернула представления кумушек, что они почти жалели Аделаиду. «Бедняжка, она совсем рехнулась, – говорили они. – Будь у нее родственники, они уже давно свезли бы ее в сумасшедший дом». Никто не знал истории этой странной связи, поэтому опять-таки обвинили «негодяя Маккара»: ясно, что он воспользовался слабоумием Аделаиды, чтобы завладеть ее деньгами.

Законный сын Аделаиды, Пьер Ругон, рос вместе с ее внебрачными детьми. Мать оставила у себя обоих волчат, как называли в предместье Урсулу и Антуана, и относилась к ним не лучше и не хуже, чем к ребенку от первого брака. По-видимому, она не совсем ясно представляла себе, какая участь ожидает этих двух несчастных детей. Она не делала различия между ними и своим первенцем. Иногда она появлялась, ведя за одну руку Пьера, за другую Антуана, не замечая, что уже сейчас к малышам относятся далеко не одинаково.

Это был странный дом. В продолжение двадцати лет каждый жил в нем, как ему вздумается. Дети росли на полной свободе. В замужестве Аделаида как будто осталась все той же высокой странной девушкой, которая в пятнадцать лет уже слыла чудачкой. Она не была сума-

спешней, как считали в предместье, но какое-то отсутствие уравновешенности, какое-то расстройство умственной деятельности и сердца заставляли ее жить не обычной жизнью, не так, как все. Она была непосредственна и по-своему вполне последовательна, но в глазах соседей эта последовательность была чистейшим безумием. Казалось, Аделаида нарочно подает повод к сплетням, нарочно старается, чтобы у нее все шло как можно хуже, тогда как она лишь бесхитростно, простодушно следовала требованиям своего темперамента.

После первых родов у нее начались нервные припадки, ее сводили страшные судороги. Припадки повторялись периодически каждые два-три месяца. Обращались к докторам, те отвечали, что ничем помочь нельзя, что с годами припадки пройдут, и прописали ей непрожаренное мясо и хинную настойку. От постоянных припадков Аделаида окончательно помешалась. Она жила день за днем, как ребенок, как ласковое, смирное животное, покорное своим инстинктам. Когда Маккар исчезал из города, она проводила целые дни в праздности, в мечтах, обращая внимание на детей только для того, чтобы приласкать их, поиграть с ними. Но лишь только любовник возвращался, она покидала их.

За домиком Маккара был небольшой двор, отделенный стеной от участка Фуков. Как-то утром, к великому удивлению соседей, в этой стене оказалась калитка, которой не было еще накануне вечером. В течение часа все предместье успело осмотреть ее. Любовники, очевидно, трудились всю ночь, чтобы сделать пробоину и навесить калитку. Теперь они свободно могли ходить друг к другу. Это был новый вызов. На этот раз к Аделаиде отнеслись менее снисходительно. Поистине она стала позорищем предместья. Эта калитка, это спокойное бесстыдное признание любовной связи вызвало больше возмущения, чем двое внебрачных детей. «Хоть бы видимость соблюли», – говорили самые снисходительные из женщин. Но Аделаида не понимала, что значит «соблюдать видимость». Она была очень довольна, очень гордилась калиткой; она помогала Маккару вынимать камни из стены и даже замешивала известку, чтобы работа шла поскорее. Наутро она с детской радостью пришла полюбоваться на дело своих рук, и две-три кумушки, видевшие, как она рассматривала еще не просохшую кладку, сочли это пределом бесстыдства. С тех пор каждый раз, как Маккар появлялся в предместье, считалось, что молодая вдова, которая в такие дни нигде не показывалась, перебирается к нему в лачугу в тупике Святого Митра.

Контрабандист возвращался через разные промежутки времени и почти всегда неожиданно. Никто не знал, как жили любовники в те два-три дня, которые Маккар иногда проводил в городе. Дверь была на запоре, и домик их казался необитаемым. Жители предместья, решившие, что Маккар соблазнил Аделаиду единственно для того, чтобы ее обобрать, удивлялись, что годы идут, а Маккар, все такой же оборванный, по-прежнему скитается по горам и лесам. Может быть, чем реже они встречались, тем сильнее любила его молодая женщина, а может быть, он не поддавался ее просьбам, чувствуя неодолимую тягу к жизни, полной приключений. Ходили разные слухи, но никто не мог сколько-нибудь разумно объяснить эту связь, возникшую и продолжавшуюся так странно. Жилище в тупике Святого Митра всегда было наглухо заперто и хранило свою тайну. Догадывались, что Маккар бьет Аделаиду, хотя никогда из домика не доносилось ни малейшего шума. Не раз она появлялась с синяками, растерзанная, с растрепанными волосами, но никогда у нее не было страдальческого или хотя бы печального вида. Она и не пыталась скрыть следы побоев, она улыбалась и казалась счастливой. Очевидно, она безропотно подчинялась любовнику, и так они прожили более пятнадцати лет.

Аделаида, возвращаясь домой, находила там полный разгром, но это ее ничуть не трогало. Она была чужда всякой практичности. Она не знала цены вещам, не понимала необходимости порядка.

Дети ее росли, как растут дикие сливы при дороге, по воле солнца и дождя. И дички, не тронутые ножом садовника, не подрезанные, не привитые, принесли свои естественные плоды. Никогда природные наклонности не встречали меньше стеснения, никогда маленькие зловед-

ные создания не вырастали, так свободно следуя своим инстинктам. Они катались по грядкам с овощами, проводили время на улице в играх и драках. Они воровали съестные припасы в доме, ломали фруктовые деревья в саду, как хищные и крикливые злые духи, они завладели всем домом, где царил безумие. Когда мать исчезала на целые дни, дети поднимали такой гам, придумывали такие дьявольские проделки, чтобы досадить окружающим, что соседи унимали их, грозя розгами. Аделаиду же дети ничуть не боялись, и если менее докучали окружающим, когда мать бывала дома, то только потому, что они избирали ее своей жертвой. Они пропускали уроки в школе пять-шесть раз в неделю и как будто нарочно старались навлечь на себя наказание, чтобы поднять рев на всю улицу. Но Аделаида их никогда не била, даже никогда не сердилась на них; она не замечала ни шума, ни криков, вялая, безразличная, отсутствующая. В конце концов отчаянный гам трех озорников стал для нее потребностью, он заполнял ее пустую голову. Когда при ней говорили: «Скоро дети начнут ее бить, и поделом», – она кротко улыбалась. Что бы ни случилось, ее равнодушный вид, казалось, говорил: «Не все ли равно!» О делах она заботилась еще меньше, чем о детях. Участок Фуков за долгие годы этой безалаберной жизни превратился бы в пустырь, но, к счастью, Аделаида поручила дело опытному огороднику. По договору он участвовал в доходах и безбожно обкрадывал ее, о чем Аделаида не догадывалась. Но тут была и своя хорошая сторона: чтобы побольше украсть, огородник старался извлечь больше прибыли из участка и почти удвоил его доходность. Законный сын, Пьер, с самых ранних лет главенствовал над братом и сестрой – потому ли, что им руководил смутный инстинкт, или же потому, что он заметил, как относятся к ним посторонние. В ссорах он по-хозяйски колотил Антуана, хотя и был слабее его. Урсуле же, хилой, жалкой, бледной девочке, одинаково доставалось от обоих. Впрочем, лет до пятнадцати-шестнадцати все трое тузили друг друга по-братски, не отдавая себе отчета в глухой взаимной ненависти, не понимая, насколько они чужды друг другу. И, только достигнув юношеского возраста, они столкнулись как сознательные, сложившиеся личности.

В шестнадцать лет Антуан вытянулся и стал долговым малым, в котором воплотились все пороки Аделаиды и Маккара, как бы слитые воедино; все же преобладали задатки Маккара, его страсть к бродяжничеству, склонность к пьянству, вспышки скотской злобы; но под влиянием нервной натуры Аделаиды пороки, проявлявшиеся у отца с какой-то полнокровной откровенностью, у сына превратились в трусливую и лицемерную скрытность.

От матери он унаследовал полное отсутствие достоинства и силы воли, эгоистичность чувственной женщины, не брезгающей самым гнусным ложем, лишь бы понежиться вволю, лишь бы поспать в тепле. Об Антуане говорили: «Какой мерзавец! У отца хоть храбрость была, а этот и убьет-то исподтишка, иголкой». Физически Антуан унаследовал от матери только чувственные губы; остальные черты были отцовские, но смягченные, более расплывчатые и подвижные.

У Урсуле, наоборот, преобладало физическое и моральное сходство с матерью. Правда, и здесь было глубокое смешение обоих начал, но несчастная девочка родилась в те дни, когда Аделаида по-прежнему любила страстно, а Маккар уже пресытился ею, и дочери передалось вместе с полем клеймо материнского темперамента. В ней натуры родителей не сливались воедино, а скорее противопоставлялись в тесном сближении. Урсула была своевольна, неуравновешенна, порой всех дичилась, порой впадала в уныние или же возмущение парии; но чаще всего она смеялась нервным смехом или предавалась мечтам, как женщина с сумасбродным сердцем, с сумасбродной головой. Взгляд ее иногда блуждал растерянно, как у Аделаиды, глаза были прозрачны, как хрусталь; такие глаза бывают у молодых кошек, умирающих от сухотки.

Рядом с обоими незаконнорожденными детьми Пьер всякому, кто не проник в сущность его натуры, мог бы показаться чужим, глубоко отличным от них. А между тем мальчик унаследовал в равной мере черты породивших его людей – крестьянина Ругона и нервной девицы Аделаиды. В нем черты отца были отшлифованы чертами матери. Скрытое столкновение тем-

пераментов, которым с течением времени определяется улучшение или упадок породы, принесло в Пьере свои первые плоды. Он был крестьянином, но не столь толстокожим, как отец, с менее топорным лицом, с умом более широким и гибким. В Пьере начала отца и матери усовершенствовали друг друга. Натура Аделаиды, утонченная постоянным нервным возбуждением, противодействовала полнокровной тяжеловесности Ругона и отчасти смягчала ее, а грузная сила отца давала отпор сумасбродным причудам матери и не позволяла им отразиться на ребенке. У Пьера не было ни вспышек гнева «маккаровских волчат», ни их болезненной задумчивости; он был плохо воспитан, распушен, как все дети, не знающие узды, но все же некоторое благоразумие удерживало его от бессмысленных поступков. Его пороки – любовь к праздности, жажда наслаждений – проявлялись не так явно и бурно, как у Антуана. Пьер лелеял их, рассчитывая в будущем удовлетворять их открыто, с достоинством. Во всей его толстой, приземистой фигуре, в длинной бесцветной физиономии, в которой черты отца смягчались тонкостью линий материнского лица, сквозило расчетливое, затаенное честолюбие, жадное стремление удовлетворить его, черствость и завистливая злоба мужицкого сына, из которого богатство и нервозность матери сделали буржуа.

В семнадцать лет, когда Пьер заметил распушенность Аделаиды, понял двусмысленное положение Антуана и Урсулы, он не огорчился и не возмутился, а только встревожился, не зная, какой линии держаться, чтобы лучше оградить свои интересы. Не в пример брату и сестре, он более или менее аккуратно посещал школу. Крестьянин, осознав необходимость образования, становится свирепо расчетлив. В школе товарищи своими насмешками и оскорбительной манерой обращения с Антуаном внушили Пьеру первые подозрения. Позднее ему стало многое понятно: двусмысленные взгляды, намеки. Наконец он увидел, что в доме царит полный разгром. С тех пор он стал смотреть на Антуана и Урсулу как на бессовестных дармоедов, на приживалов, пожирающих его достояние. Аделаиду он, как и все жители предместья, считал сумасшедшей, которую давно следовало бы посадить под замок и которая растратит все его состояние, если он не примет мер. Но окончательно потрясло его воровство огородника. Озорной мальчишка сразу превратился в расчетливого эгоиста. Та странная, бесхозяйственная жизнь, которой он уже не мог видеть без боли в сердце, преждевременно развила в нем инстинкты собственника. Овощи, приносившие огороднику большие барыши, принадлежали ему, Пьеру; ему же принадлежало вино, выпитое незаконнорожденными детьми его матери, хлеб, съеденный ими. Весь дом, все имущество принадлежали ему. По его крестьянской логике все должен был наследовать он, законный сын. А дела шли все хуже, каждый жадно отрывал куски от его будущего состояния, и Пьер стал искать способ, как вышвырнуть за дверь и мать, и сестру, и брата, чтобы одному завладеть наследством.

Борьба была жестокой. Пьер понял, что первый удар надо нанести матери. Он терпеливо, упорно, шаг за шагом выполнял план, который заранее обдумал до мельчайших подробностей. Его тактика заключалась в том, чтобы стоять перед Аделаидой живым укором. Он не выходил из себя, не осыпал ее горькими словами, не упрекал в дурном поведении, нет, он только пристально смотрел на нее, не произнося ни слова, и это приводило ее в ужас. Когда Аделаида возвращалась от Маккара, она с трепетом поднимала глаза на сына и чувствовала на себе его взгляд – холодный, острый, как стальное лезвие, которое медленно, безжалостно вонзалось ей в сердце. Суровое молчание Пьера, сына человека, так скоро ею забытого, смущало ее бедный больной мозг. Ей казалось, что Ругон воскрес, для того чтобы покарать ее за распутство. Теперь с нею каждую неделю делались нервные припадки, после которых она чувствовала себя совершенно обессиленной. Никто не обращал на нее внимания, когда она билась в судорогах. Придя в себя, она оправляла платье, вставала обессиленная, еле волоча ноги. Она часто плакала по ночам, сжимая голову руками, принимая обиды Пьера как удары карающего божества. Но порой она отрекалась от сына; она не узнавала своей крови в этом бессердечном человеке, невозмутимость которого мучительно охлаждала ее возбуждение. Зачем он смотрел на нее

своим упорным взглядом, уж лучше бы он бил ее. Беспощадный взгляд сына преследовал ее повсюду и так истерзал, что она не раз принимала решение расстаться с любовником. Но стоило появиться Маккару, она забывала все свои клятвы и бежала к нему. А когда возвращалась домой, снова начиналась борьба, еще более молчаливая, еще более страшная. Прошло несколько месяцев, и Аделаида полностью подпала под власть сына. Она дрожала перед ним, как маленькая девочка, неуверенная в себе и боящаяся розги. Ловкий Пьер связал ее по рукам и ногам, превратил в покорную рабу; он достиг этого, не раскрывая рта, не пускаясь в сложные и неприятные объяснения.

Когда молодой Ругон почувствовал, что мать в его власти, что с нею можно обращаться как с рабыней, он сумел извлечь выгоду из ее слабоумия и безграничного ужаса, который ей внушал один его взгляд. Став хозяином в доме, он тотчас же прогнал огородника и заменил его верным человеком. Он взял на себя управление всеми делами, покупал, продавал, забирал всю выручку. Впрочем, он не пытался ни обуздать Аделаиду, ни бороться с ленью Антуана и Урсулы. Какое все это могло иметь значение, раз он решил при первой же возможности отделаться от них. Он ограничился тем, что начал учитывать и хлеб, и воду. Потом, захватив в свои руки все состояние, он стал выжидать случая, который позволил бы ему распорядиться деньгами по своему усмотрению. События ему благоприятствовали. Как старший сын вдовы, он не подлежал призыву. Два года спустя Антуан вытянул жребий. Неудача его не огорчила – он рассчитывал, что мать поставит за него рекрута. Аделаида действительно хотела избавить сына от военной службы, но деньги были у Пьера, а Пьер молчал. Отъезд брата был для него слишком счастливой случайностью. Когда мать заговорила с ним об Антуане, Пьер посмотрел на нее так, что она умолкла на полуслове. Его взгляд ясно говорил: «Так вы что же, хотите разорить меня ради вашего ублюдка?» И Аделаида эгоистично отсеклась от Антуана, желая только спокойствия и свободы. Пьер, не любивший крутых мер, радуясь, что ему удалось выжить брата без всякой ссоры, принялся жаловаться на безвыходное положение: урожай плохой, денег в доме нет, пришлось бы продать участок земли, а это первый шаг к разорению. Он дал Антуану слово, что выкупит его на будущий год, хотя твердо решил этого не делать. Антуан поверил ему и уехал почти успокоенный.

От Урсулы Пьер отделался еще более неожиданным образом. К ней вспылал страстной любовью некто Муре, рабочий с шляпной фабрики, – девушка казалась ему хрупкой и нежной, как барышня из квартала Святого Марка. Он женился на ней. Это был брак по любви, недуманный поступок, без тени расчета. Урсула же дала согласие только для того, чтобы уйти из дому, – так ей отравлял существование старший брат. Мать, поглощенная своей страстью, напрягавшая последние силы, чтобы защитить себя, ко всему относилась безучастно. Она даже радовалась, что дочь уйдет из дому, так как надеялась, что Пьер тогда не будет сердиться и даст матери возможность жить спокойно, как ей хочется. С первых же дней женитьбы Муре понял, что надо уехать из Плассана, иначе ему на каждом шагу придется выслушивать оскорбительные замечания по адресу жены и тещи. Он увез Урсулу в Марсель, где стал заниматься своим ремеслом. Он не потребовал никакого приданого, и когда Пьер, удивляясь бескорыстия зятя, начал бормотать какие-то объяснения, Муре прервал его и заявил, что предпочитает сам зарабатывать на хлеб для своей жены. Достойный сын крестьянина Ругона даже встревожился: не скрывается ли за этим какая-нибудь ловушка?

Оставалась Аделаида. Ни за что на свете Пьер не согласился бы жить вместе с ней. Она его компрометировала. Будь это возможно, он прежде всего отделался бы от нее. Положение было весьма затруднительное: оставить мать у себя значило разделить с нею ее позор, взвалить на себя обузу, которая помешает его честолюбивым замыслам; прогнать ее – на него будут указывать пальцем как на дурного сына, а Пьер хотел завоевать себе репутацию добряка. Предчувствуя, что ему могут понадобиться самые разные люди, он желал восстановить свое доброе имя в глазах всего Плассана. Оставалось одно – довести Аделаиду до того, чтобы она ушла

сама... Для достижения этой цели Пьер не останавливался ни перед чем. Он считал, что его жестокость вполне оправдывается дурным поведением матери. Он наказывал ее, как наказывают провинившегося ребенка. Роли переменились. Несчастная женщина сгибалась под вечно занесенной над нею рукой. Она заикалась от страха и в сорок два года казалась растерянной, забитой старухой, впавшей в детство. А сын продолжал преследовать ее суровым взглядом, надеясь, что в один прекрасный день она не выдержит и сбежит из дому. Несчастная женщина страдала от стыда, от неудовлетворенной страсти, от вечного унижения, безропотно принимала удары и все же не расставалась с Маккаром, предпочитая скорее умереть, чем уступить. В иные дни она готова была броситься в реку, но все существо этой слабодушной, нервной женщины содрогалось от ужаса при мысли о смерти. Несколько раз она порывалась убежать к любовнику на границу и все же оставалась дома, терпела презрительное молчание и скрытую жестокость сына, потому что ей некуда было деваться. Пьер чувствовал, что она давно бы ушла, будь у нее пристанище.

Он решил было снять ей отдельную квартиру, придравшись к какому-нибудь поводу; но на помощь пришло неожиданное событие, о котором он не смел и мечтать. В предместье пронесся слух, что Маккар убит на границе таможенным стражником в ту минуту, когда он тайно переправлял во Францию большую партию женевских часов. Слух оказался верным. Труп контрабандиста даже не привезли домой, а похоронили на кладбище маленькой горной деревушки. Горе совсем пришибло Аделаиду. Сын с любопытством наблюдал за ней и не видел, чтобы она уронила хоть одну слезу. Маккар завещал ей все свое имущество. Она унаследовала лачугу покойного в тупике Святого Митра и карабин, который ей честно принес контрабандист, избежавший пули таможенника. На следующий же день Аделаида перебралась в свой домик, повесила карабин над очагом и стала жить там одна, равнодушная ко всему, отрешенная от внешнего мира.

Наконец-то Пьер стал полным хозяином в доме. Участок Фуков принадлежал ему если не по закону, то на деле. Но Пьер вовсе не собирался оставаться в предместье. Тут было слишком узкое поприще для его честолюбивых планов. Обрабатывать землю, выращивать овощи казалось ему делом низким, недостойным его способностей. Он решил порвать с землей. Нервный темперамент матери несколько утончил его натуру, пробудив непреодолимое тяготение к прелестям буржуазной жизни, и поэтому все его расчеты основывались на продаже усадьбы. Это принесло бы ему сразу кругленькую сумму и дало бы возможность жениться на дочери какого-нибудь коммерсанта, который принял бы его в дело. В те времена войны Империи сильно поубавили число женихов, и родители стали менее требовательны в выборе зятя. Пьер утешал себя мыслью о том, что деньги все уладят и никто не будет особенно прислушиваться к сплетням кумушек из предместья; он рассчитывал выступить в роли жертвы, разыграть славного малого, который горько страдает от семейного позора, но не принимает его на себя и никак его не оправдывает. Вот уже несколько месяцев, как он присматривался к Фелисите Пеш, дочери торговца маслом. Фирма «Пеш и Лакан» помещалась на одной из самых мрачных улиц старого квартала; дела ее были далеко не в цветущем состоянии, кредит пошатнулся, и поговаривали даже о банкротстве. Но именно из-за этих слухов Пьер и повел атаку. Ни один из преуспевающих купцов не выдал бы за него дочь. Пьер решил выждать и, когда старый Пеш окончательно запутается, посвататься к Фелисите, купить ее и применить свой ум и энергию, чтобы спасти фирму от краха. Это был хороший способ подняться на одну ступень, сразу возвыситься над своим классом. Но прежде всего Пьер хотел порвать с отвратительным предместьем, где поносили его семью, заставить плассанцев забыть все грязные пересуды, стереть из их памяти самое название «усадьбы Фуков». Зловонные улицы старого квартала казались ему раем. Там, только там ему удастся зажить по-новому.

Наконец настал долгожданный час. Фирма «Пеш и Лакан» была при последнем издыхании. Пьер осторожно и ловко повел переговоры о женитьбе. Его сватовство приняли если не

как избавление, то как неизбежный и вполне приемлемый выход. Когда вопрос о свадьбе был решен, Пьер энергично занялся продажей участка. Владелец Жа-Мефрена, желая округлить свои владения, уже не раз обращался к Ругону по этому поводу: их усадьбы разделяла только низкая ограда. Пьер ловко воспользовался нетерпением богатого соседа, а тот ради удовлетворения своей прихоти согласился заплатить за участок пятьдесят тысяч франков, то есть вдвое больше действительной его стоимости. С чисто крестьянской хитростью Пьер заставил себя просить, заявлял, что не собирается продавать участок, что мать ни за что не согласится расстаться с землей, которой Фуки владели из рода в род более двухсот лет. Он притворялся, что никак не может принять решения, и в то же время старался ускорить сделку. У него возникли опасения. По его примитивной логике выходило, что весь участок принадлежит ему и он может распоряжаться им как угодно. Но за его уверенностью крылась некоторая тревога: он опасался осложнений со стороны Свода законов и решил обиняком разузнать обо всем у судебного исполнителя предместья.

Ему пришлось услышать пренебрежительные вещи. Оказалось, что закон связывает его по рукам и ногам. Одна только мать вправе продать землю и дом. Это Пьер отчасти подозревал. Но он никак не ожидал, что оба незаконнорожденных, оба волчонка, Антуан и Урсула, тоже имеют права на наследство. Его словно обухом оглушило. Как! Эти ублюдки могут обождать, могут ограбить его, законного сына! Объяснения судебного исполнителя были ясны и точны. Правда, при заключении брака Аделаиды с Ругоном было принято условие общности имущества, но, поскольку это имущество состояло из недвижимости, все оно по закону после смерти мужа переходило обратно к вдове. А так как Маккар и Аделаида признали своих детей, то они имели право на наследство со стороны матери. Оставалось одно утешение, что закон сильно урезывал долю внебрачных детей в пользу законных. Но это ничуть не утешило Пьера. Ему нужно было все наследство. Он не желал выделить Антуану и Урсуле хотя бы десять су. Все же ограничительная оговорка в сложных статьях закона открыла перед ним новые возможности, которые он принялся сосредоточенно, всесторонне обдумывать. Он сразу понял, что ловкий человек всегда должен действовать так, чтобы закон был на его стороне. И вот он самостоятельно нашел выход, ни с кем не советуясь, даже с судебным исполнителем, чтобы не вызвать никаких подозрений. Он знал, что может распоряжаться матерью как вещью. В одно прекрасное утро он отправился с ней к нотариусу и заставил ее подписать купчую на продажу усадьбы. Аделаида готова была продать не только свою землю, но и весь Плассан, только бы ей оставили лачугу в тупике Святого Митра. Впрочем, Пьер обеспечивал ей ежегодный доход в шестьсот франков и клялся всеми святыми, что не оставит брата и сестру. Аделаида удовлетворилась клятвой. На другой же день Пьер попросил у нее расписку в получении пятидесяти тысяч франков за усадьбу. Это и был его мошеннический замысел. Когда мать удивилась, что надо давать расписку на пятьдесят тысяч, не получив ни единого су, Пьер сказал ей, что это простая, ничего не значащая формальность. Пряча расписку в карман, он думал: «Пусть-ка волчата потребуют у меня отчета! Я скажу, что старуха все спустила. Они не посмеют подать в суд». Через неделю стена между усадьбами перестала существовать, и плуг прошел по грядкам, где раньше росли овощи. По воле молодого Ругона усадьбе Фуков суждено было превратиться в легендарное воспоминание. А еще через несколько месяцев владелец Жа-Мефрена снес и старый, полуразрушенный дом огородников.

Получив пятьдесят тысяч, Пьер без долгих промедлений женился на Фелисите Пеш, маленькой чернявой девушке, каких много в Провансе. Глядя на нее, вспоминались цикады, сухие коричневые стрекошущие цикады, которые, стремительно взлетая, ударяются о ветви миндальных деревьев. Тощая, плоскогрудая, с острыми плечами, с резко очерченным лицом, похожим на мордочку хорька, Фелисите не имела возраста: ей можно было дать и пятнадцать, и тридцать лет, хотя на самом деле ей только что исполнилось девятнадцать — она была на четыре года моложе своего жениха. Что-то лукавое, кошачье таилось в глубине ее черных глаз,

маленьких, как дырки, проткнутые шилом. Низкий выпуклый лоб, нос с вдавленной переносицей, широкие ноздри, всегда трепещущие, как будто созданные для того, чтобы ко всему приноживаться, узкая полоска красных губ, крутой подбородок, глубокие впадины на щеках – вся физиономия этой лукавой карлицы была воплощением завистливого, беспокойного тщеславия. Несмотря на некрасивые черты, Фелисите была все же одарена какой-то грацией, придававшей ей своеобразную прелесть. Про нее говорили, что она может быть хорошенькой или дурнушкой – по желанию. Пожалуй, это зависело от того, как она укладывала волосы, а волосы у нее были великолепные; но еще больше это зависело от улыбки, от той торжествующей улыбки, которая преображала все смуглое лицо Фелисите, когда ей казалось, что она одерживает победу. Фелисите считала, что родилась под несчастливой звездой, раз судьба обделила ее красотой. Чаще всего она и не хотела быть хорошенькой, но не сдавалась – она поклялась, что настанет день, когда весь город лопнет от зависти при виде ее счастья, ее роскоши, дерзко выставленных напоказ. Будь у нее более широкое жизненное поприще, где нашел бы применение ее острый ум, она, конечно, быстро осуществила бы свою мечту. По уму она была намного выше девушек своего круга. Злые языки утверждали, что ее мать, умершая, когда Фелисите была еще ребенком, в первое время замужества состояла в связи с маркизом де Карнавеном, молодым дворянином из квартала Святого Марка. В самом деле, у Фелисите были руки и ноги маркизы, что при ее происхождении было удивительно.

Старый квартал целый месяц не мог успокоиться оттого, что Фелисите выходит замуж за Пьера Ругона, неотесанного огородника из предместья да еще к тому же из семьи, про которую шла такая дурная слава. Фелисите не обращала внимания на пересуды и с загадочной усмешкой принимала натянутые поздравления подруг. Она все обдумала, она выбрала Пьера не как мужа, а скорее как сообщника. Отец же, соглашаясь отдать дочь за молодого Ругона, видел перед собой пятьдесят тысяч франков – спасение фирмы от краха. Но Фелисите была более дальновидной. Она заглядывала в будущее и чувствовала, что ей нужен человек крепкий, пусть даже грубоватый, но такой, чтобы она исподтишка могла управлять им как марионеткой. Она терпеть не могла провинциальных щеголей, поджарых помощников нотариусов и будущих адвокатов, которые щелкают зубами в ожидании клиентуры. Бесприданница Фелисите не надеялась выйти замуж за сына богатого купца и считала, что простой крестьянин, который будет послушным орудием в ее руках, во сто раз лучше, чем какой-нибудь тощий бакалавр, который кичился бы перед ней своей школьной ученостью и, в бесплодных попытках удовлетворить свое пустое тщеславие, обрек бы ее на жалкое существование. Фелисите была убеждена, что мужчину формирует женщина, и считала себя способной сделать из пастуха министра. Ее прельстила широкая грудь, крепкая, коренастая фигура Ругона, не лишённого известной представительности. Несомненно, мужчина такого сложения легко и бодро понесет тяжкий груз интриг, который она собиралась взвалить на его плечи. Цenia силу и здоровье своего жениха, Фелисите сумела также разглядеть и то, что он далеко не дурак, угадала за внешней его тяжеловесностью гибкий, пронырливый ум. И все же она недооценивала Ругона, считала его глупее, чем он был на самом деле. Через несколько дней после свадьбы, роясь в ящиках письменного стола, она нечаянно нашла расписку в получении пятидесяти тысяч франков, подписанную Аделаидой. Фелисите сразу поняла, в чем дело, и испугалась: ее примитивно честной натуре претили подобные приемы. Но к испугу примешивалась некоторая доля восхищения. Ругон становился в ее глазах сильным человеком.

Молодая чета отважно пустилась в погоню за фортуной. Фирма «Пеш и Лакан» оказалась менее разоренной, чем думал Пьер. Долгов было не так много, не хватало только наличных денег. В провинции торговля ведется с сугубой осторожностью, и это спасает от больших катастроф, Пеш и Лакан были осторожнейшими из осторожных: как истые провинциалы, они трепетали, рискуя тысячью экю, и потому их фирма имела очень маленький оборот. Пятидесяти тысяч, вложенных Пьером в дело, хватило на то, чтобы расплатиться с долгами и оживить

торговлю. Поначалу все шло хорошо. Три года подряд был большой урожай маслин. Фелисите решила на смелый шаг и, к великому страху Пьера и старика-отца, заставила их закупить большое количество масла и придержать его на складе. Предположения молодой коммерсантки оправдались; следующие два года оказались неурожайными, цены на масло сильно поднялись, и фирма продала все свои запасы с большой прибылью.

Вскоре после такого удачного оборота Пеш и Лакан удалились от дел, вполне удовлетворенные полученным барышом, мечтая только о том, чтобы прожить остаток дней как рантье.

Молодые, оставшись хозяевами, решили, что теперь их судьба упрочена.

– Ты поборол мою незадачливость, – говорила Фелисите мужу.

Фелисите считала себя неудачницей, что было одной из слабостей этой энергичной женщины. По ее словам, ни ей, ни ее отцу, несмотря на все их старания, до сих пор ничего не удавалось. Она отличалась суеверием, подобно всем южанкам, готова была бороться с судьбой, как борются с живым существом, которое хочет вас удушить.

События странным образом подтвердили ее опасения. Наступила полоса неудач. Ругонам не везло; каждый год на них обрушивалась какая-нибудь новая напасть. Один из их клиентов обанкротился, и они потеряли несколько тысяч франков; самые верные расчеты на урожай рушились из-за невероятных стечений обстоятельств; бесспорные, казалось, сделки срывались самым жалким образом. Это была война без пощады, без передышки.

– Ну вот, ты сам видишь, что я родилась под несчастной звездой! – с горечью говорила Фелисите.

Но она упорствовала, боролась яростно, ожесточенно, не понимая, почему, проявив в первый раз такое тонкое чутье, она теперь дает мужу только неудачные советы.

Пьер был подавлен и, как человек менее стойкий, уже давно ликвидировал бы дело, если бы не упрямое, судорожное сопротивление жены. Фелисите нужно было богатство. Она понимала, что единственная опора ее честолюбию – деньги. Будь у них несколько сот тысяч франков, они стали бы первыми людьми в городе; тогда она добилась бы назначения мужа на какой-нибудь важный пост, она управляла бы всем. Завоевание почетного положения ее ничуть не тревожило; она чувствовала себя во всеоружии для борьбы. Но как добыть первый мешок золота? И если Фелисите нимало не смущала мысль о власти над людьми, то она испытывала бессильную ярость при мысли о блестящих, холодных, равнодушных пятифранковых монетах; все ее хитросплетения не имели над ними власти, они упорно не давались ей в руки.

Тридцать лет продолжалась эта борьба. Пеш умер, и его смерть нанесла Ругонам новый удар. Фелисите рассчитывала получить после отца не менее сорока тысяч, но оказалось, что старый эгоист, желая побаловать себя на склоне лет, вложил все свое небольшое состояние в пожизненную ренту. Фелисите заболела от разочарования. Понемногу она озлоблялась, становилась все черствее, все язвительнее. С утра до вечера она суежилась возле кувшинов с маслом, словно надеялась оживить торговлю, кружась вокруг них, как назойливая муха. Ругон, наоборот, становился все тяжелее на подъем, ожирел, обрюзг от неудач. Эти тридцать лет борьбы все же не довели их до разорения. Каждый год они с грехом пополам сводили концы с концами, и если терпели убытки в одно лето, то возмещали их на следующее. Но это прозябание, эти мелочные расчеты изо дня в день приводили Фелисите в отчаяние. Лучше уж настоящее, явное банкротство. Тогда они, возможно, начали бы жизнь сызнова, перестали бы цепляться за жалкие доходы, портить себе кровь, чтобы заработать на пропитание. За четверть века Ругоны не скопили и пятидесяти тысяч франков.

Надо сказать, что с первых же лет супружества их семейство начало прибавляться и постепенно превратилось для них в тяжелое бремя. Фелисите, как многие маленькие женщины, оказалась удивительно плодотворной, чего трудно было ожидать, глядя на ее тщедушную фигурку. За пять лет, с 1811 по 1815 год, у нее родилось трое сыновей, каждые два года по ребенку. В следующие четыре года она родила двух дочерей. Ничто так не благоприят-

ствуется прибавлению семейства, как спокойная, животная жизнь провинции. Супруги без всякой радости встретили появление двух последних детей: когда нет приданого, дочери становятся тяжелой обузой. Ругон заявлял во всеуслышание, что с него довольно – самому дьяволу не удастся навязать ему шестого ребенка. И действительно, Фелисите больше не рожала, иначе неизвестно, на какой бы цифре она остановилась.

Впрочем, молодая женщина не смотрела на детей как на причину разорения. Наоборот, она начала воздвигать для сыновей те воздушные замки, которые рушились для нее самой. Им не было еще и десяти лет, а она уже помышляла об их будущей карьере. Отказавшись от мысли преуспеть самой, она надеялась, что сыновья помогут ей победить злой рок. Они удовлетворяют ее обманутые честолюбивые надежды, принесут ей богатство, создадут завидное положение, которого она тщетно добивалась. Отныне, не прекращая борьбы, которую вела фирма, Фелисите повела вторую кампанию за удовлетворение своего тщеславия. Ей казалось невероятным, чтобы ни один из троих сыновей не стал человеком выдающимся, не обогатил всю семью. Она уверяла, что у нее такое предчувствие. Своих мальчиков она лелеяла, воспитывала с большим рвением, в котором материнская строгость сочеталась с заботливостью ростовщика. Она любовно откармливала их, растила как капитал, который позднее принесет проценты.

– Брось, – кричал Пьер, – все дети неблагодарны. Ты их портишь, ты нас разоряешь!

Он рассердился, когда Фелисите повела разговор о том, чтобы отдать их в коллеж: латынь – излишняя роскошь, хватит с них и уроков в соседнем пансионе. Но Фелисите настояла на своем. У нее были более высокие стремления, и она гордилась тем, что ее дети получают образование; она понимала, что сыновей нельзя оставить такими же невеждами, как ее муж, если она хочет, чтобы они пробили себе дорогу. Она мечтала о том, что все трое будут жить в Париже и займут там высокие посты, хотя и не знала, какие именно. Ругон уступил, и мальчики один за другим поступили в коллеж. Фелисите впервые испытала захватывающее, радостное чувство удовлетворенного тщеславия. Она с упоением слушала, как дети разговаривают между собой об учителях и уроках. В тот день, когда старший в первый раз заставил младшего проклонять «*rosa – rosae*», ей казалось, что она слышит дивную музыку. К чести ее надо сказать, что радость эта была вполне бескорыстной. Даже Ругон поддался чувству гордости, какое испытывает малограмотный человек, когда видит, что дети учение его. Товарищеские отношения, установившиеся между маленькими Ругонами и сыновьями городских заправил, окончательно вскружили голову супругам. Мальчики были на «ты» с сыном мэра, сыном супрефекта и даже несколькими молодыми дворянчиками из квартала Святого Марка, которых родители соблаговолили отдать в плассанский коллеж. Фелисите считала, что за такую честь не жалко никаких денег. Но образование троих сыновей пробило основательную брешь в бюджете фирмы Ругонов.

Пока сыновья учились в коллеже, родители, платившие за учение ценой огромных жертв, жили надеждой на их успех. Когда молодые Ругоны получили степень бакалавров, Фелисите решила завершить дело своих рук и послать всех троих в Париж. Двое стали изучать право, третий поступил на медицинский факультет. Но когда они стали совсем взрослыми и, истощив на свое образование все средства фирмы Ругонов, вынуждены были вернуться и обосноваться в провинции, для несчастных родителей наступила пора разочарования. Провинция завладела своей добычей. Молодые люди отяжелели, опустились. Вся желчь неудачи подступила к горлу Фелисите. Сыновья принесли ей банкротство. Они разорили ее, они не дали процентов на вложенный в них капитал. Последний удар судьбы был особенно жесток, потому что поражал не только женское тщеславие, но и гордость матери. Ругон с утра до вечера повторял: «Ну, что я тебе говорил?» – и это приводило Фелисите в полное отчаяние.

Однажды, когда она горько попрекала старшего сына огромными суммами, потраченными на его образование, тот ответил с неменьшей горечью:

– Я рассчитаюсь с вами, как только смогу. Но если у вас не хватало средств, то надо было сделать нас ремесленниками. Мы деклассированы, наше положение хуже вашего.

Фелисите поняла всю глубину этих слов. С тех пор она перестала попрекать детей и перенесла весь свой гнев на судьбу, которая не переставала преследовать ее. Опять начались сетования и жалобы на безденежье: из-за этого она и терпит крушение у самой цели. Когда Ругон говорил: «Твои сыновья – лодыри, они будут нас обирать до конца наших дней», она злобно отвечала: «Было бы что давать! Несчастные мальчики обречены на прозябание только потому, что у них нет ни гроша».

В начале 1848 года, накануне Февральской революции, все три сына Ругонов занимали в Плассане весьма непрочное положение. Они представляли собой три любопытных и совершенно различных типа, хотя и были отпрысками одного корня. В сущности, они духовно были выше родителей. Род Ругонов облагораживали женщины. Аделаида произвела сына с заурядными способностями, с низменными стремлениями, но сыновья Фелисите обладали уже более развитым умом и задатками больших пороков и больших добродетелей.

К тому времени старшему, Эжену, было уже под сорок лет. Он был среднего роста, с наклоном к тучности и уже начал лысеть. Его лицо, длинное, с крупными чертами, как у отца, становилось обрюзглым, принимало желтоватый, восковой оттенок. В квадратной, массивной форме его головы чувствовался крестьянин; но все лицо преображалось, освещалось изнутри, когда пробуждался его взгляд, поднимались тяжелые веки. Отцовская грузность у сына превратилась в величавую осанку. Обычно этот толстяк казался сонным, у него были ленивые, широкие жесты, как у великана, который потягивается перед боем. По капризу природы, одному из тех мнимых капризов, в которых наука уже начинает различать закономерности, Эжен, при полном физическом сходстве с Пьером, унаследовал духовный облик Фелисите. Он представлял собою любопытное сочетание моральных и умственных черт матери с тяжело-весной важностью отца. Эжен отличался огромным честолюбием, властью, презрением к мелким расчетам и мелким успехам. Жители Плассана, должно быть, не ошибались, подозревая, что в жилах Фелисите есть примесь благородной крови. Ненасытная жажда наслаждений, присущая всей семье Ругонов, принимала у Эжена более благородный характер. Он тоже искал удовлетворения своих страстей, но удовлетворения духовного, он стремился к власти. В провинции такие люди не имеют успеха. Эжен пятнадцать лет прозябал в Плассане, устремив все помыслы на Париж, выжидая случая. Чтобы не быть в тягость родителям, он в Плассане приписался к сословию адвокатов. Время от времени он защищал какое-нибудь дело, еле сводил концы с концами и не поднимался выше уровня честной посредственности. В Плассане находили, что голос у него тягучий, а жесты неуклюжи. Он редко выигрывал дела. В защитительной речи он часто отклонялся от вопроса – «уносился в облака», по выражению местных остряков. Как-то раз, защищая дело о возмещении проторей и убытков, он, забывшись, пустился в такие сложные политические рассуждения, что председатель был вынужден прервать его. Эжен тотчас же сел на свое место, усмехаясь странной усмешкой. И хотя его клиента присудили к уплате значительной суммы, Эжен, по-видимому, ничуть не раскаивался в своей речи. Казалось, он рассматривал свои выступления в суде как упражнения, которые могут пригодиться в будущем. Все это было непонятно Фелисите и приводило ее в отчаяние; ей хотелось, чтобы слово сына было законом для плассанского суда. В конце концов у нее сложилось весьма невыгодное мнение о старшем сыне; она пришла к убеждению, что этому сонному толстяку не суждено прославить семью. Пьер, наоборот, безгранично верил в Эжена, но не потому, что был проницательнее жены, нет, он судил более поверхностно и льстил собственному самолюбию, веря в гениальность сына, который был его живым портретом. За месяц до февральских событий Эжен оживился, какое-то чутье подсказало ему, что близится решающее событие. Ему не сиделось в Плассане. Он бродил по бульварам как неприкаянный. Внезапно он принял какое-то решение и уехал в Париж. В кармане у него не было и пятисот франков.

Младший сын Ругонов, Аристид, был, если можно так выразиться, геометрической противоположностью Эжена. Лицом он походил на мать, но преобладали в нем отцовские инстинкты: он отличался жадностью, скрытностью, склонностью к кляузам. Природа часто стремится к симметрии. Аристид был щедеушен, его хитрое лицо напоминало набалдашник трости, выточенный в виде головы паяца; отнюдь не щепетильный и не терпеливый в своих желаниях, он вечно что-то разведывал, разнюхивал. Деньги он любил так же, как его старший брат любил власть. И в то время как Эжен в мечтах подчинял своей воле народы, пьянея от мысли о будущем могуществе, Аристид представлял себе, что он миллиардер, живет в роскошном дворце, сладко ест и пьет, наслаждается всеми чувственными удовольствиями. Но главное, он мечтал разбогатеть сразу. Если он строил воздушные замки, эти замки возникали мгновенно, как по волшебству, бочки с золотом появлялись из-под земли: такие мечты тешили его лень, а средства достижения богатства его не смущали – самые быстрые казались ему самыми лучшими. Род Ругонов, грубых, жадных крестьян с низменными вожделениями, созрел слишком быстро. Стремление к материальным благам усилилось у Аристида под влиянием поверхностного образования, стало более сознательным и от этого еще более хищным и опасным. Фелисите, несмотря на свою тонкую женскую интуицию, больше любила младшего сына; она не понимала, насколько ей ближе Эжен; она оправдывала разнузданность и праздность младшего сына, полагая, что ему суждено стать великим человеком, а великие люди имеют право вести беспутную жизнь, пока не обнаружатся их таланты. Аристид бессовестно злоупотреблял ее снисходительностью. В Париже он вел распутную и праздную жизнь и принадлежал к числу тех студентов, которые вместо лекций посещают пивные Латинского квартала. Правда, он пробыл в столице всего два года. Отец встревожился, что Аристид не сдал ни одного экзамена, вернул его в Плассан и уговорил жениться, надеясь, что семейная жизнь остепенит его. Аристид не возражал против женитьбы. В то время он еще и сам не мог разобраться в своих честолюбивых желаниях; провинциальная жизнь ему нравилась, он жил на подножном корму, ел, спал, развлекался. Фелисите так горячо просила за него, что Ругон согласился приютить молодоженов у себя, но потребовал, чтобы сын занялся делами фирмы. Для Аристида наступила блаженная пора полного безделья; убегая из отцовской конторы, как школьник, он проводил в клубе целые дни и большую часть вечеров, проигрывая золотые, которые ему украдкой совала мать. Надо знать нравы такого захолустья, чтобы понять, какую скотскую жизнь он вел в течение четырех лет. В каждом маленьком городке есть бездельники, которые живут за счет родителей, иногда делают вид, что работают, а на самом деле возводят свою лень в культ. Аристид принадлежал к тому типу неисправимых шалопаев, которые целыми днями шатаются по пустынным улицам провинциальных городов. Четыре года он занимался только тем, что играл в экарте. И пока бездельник тратил отцовские деньги в клубе, его жена, вялая, бесцветная блондинка, также способствовала разорению фирмы Ругонов своей любовью к кричащим туалетам и чудовищной прожорливостью, неожиданной в таком хрупком существе. Анжела обожала голубые ленты и жареное филе. Ее отец, отставной капитан по фамилии Сикардо, которого все звали майором, дал за ней десять тысяч франков приданого – все свои сбережения. Остановив свой выбор на Анжеле, Пьер считал, что совершает чрезвычайно выгодную сделку, – так низко он расценивал Аристида. Однако десять тысяч франков, сыгравшие решающую роль, превратились впоследствии в петлю на его шее. Аристид уже и тогда был ловким пройдохой. Он отдал все десять тысяч отцу, вложил их в дело, не оставил себе ни единого су, проявляя величайшее бескорыстие.

– Нам ничего не нужно, – говорил он, – ведь вы будете содержать меня и жену. Потом сочтемся.

Пьер, стесненный в деньгах, согласился, но был несколько обеспокоен бескорыстием сына. А тот рассчитал, что отцу не скоро удастся вернуть ему десять тысяч наличными и что они с женой смогут отлично жить на счет родителей, пока не будет расторгнуто их деловое

товарищество. Трудно было бы ему выгоднее поместить свой маленький капитал. Когда торговец маслом понял, как его провели, он уже не мог отделаться от Аристиды. Приданое Анжелы было пущено в оборот и пока не приносило доходов. Пьеру пришлось оставить молодых у себя, хотя его возмущали и приводили в отчаяние неутолимый аппетит невестки и праздность сына. Если бы он мог откупиться от них, то давно бы выгнал этих паразитов, которые, по его энергичному выражению, сосали его кровь. Но Фелисите тайно покровительствовала им; Аристид, зная ее честолюбивые мечты, каждый вечер делился с ней своими планами на будущее, говоря, что они вот-вот должны осуществиться. Как это ни странно, Фелисите была в прекрасных отношениях с невесткой; надо сказать, что Анжела отличалась полной бесхарактерностью и ею можно было распоряжаться, как вещью. Пьер приходил в бешенство, когда жена заговаривала с ним о будущих успехах младшего сына, и кричал, что, скорее всего, Аристид доведет фирму до полного разорения. Все четыре года, которые молодые прожили у отца, Ругон бушевал, изливая свой бессильный гнев в бесконечных ссорах, причем ни Аристид, ни Анжела никогда не теряли невозмутимого спокойствия. Они внедрились в дом, и ничто не могло их сдвинуть с места. Наконец Пьеру повезло, и он вернул сыну десять тысяч франков. Но когда начали подводить счета, Аристид пустился в такие мелочные споры, что отец махнул рукой и ничего не удержал в уплату за стол и квартиру. Молодые поселились в старом квартале, на площади Сен-Луи, в нескольких шагах от родителей. Десяти тысяч хватило ненадолго. Пока в доме были деньги, Аристид ни в чем не изменял привычного образа жизни. Но когда очередь дошла до последней бумажки в сто франков, он начал нервничать. Он рыскал по городу с растерянным видом, отказался от ежедневной чашки кофе в клубе и горящими глазами следил за игрой, не прикасаясь к картам. Бедность возмущала его. Все же он продержался довольно долго, упорно не желая ничего делать. В 1840 году у него родился сын, Максим. Когда ребенок подрос, бабушка Фелисите поместила его пансионером в коллеж и тайно платила за его содержание. У Аристиды стало одним едоком меньше, но Анжела была вечно голодна, и мужу пришлось наконец искать работу. Ему удалось поступить в супрефектуру. Он прослужил на одном месте десять лет и не поднялся выше оклада в тысячу восемьсот франков. Озлобленный, желчный, он жаждал только тех наслаждений, которых был лишен. Скромное положение мелкого чиновника приводило его в ярость; жалование в полтора ста франков казалось ему насмешкой судьбы. Он сгорал от неудовлетворенных желаний. Фелисите, которой он поверял свои страдания, была отчасти довольна его неудовлетворенностью; она надеялась, что нужда подзадорит его лень. Аристид начал приглядываться к событиям исподтишка, настороженно, как вор, который выжидает момента. В 1848 году, когда Эжен уехал в Париж, Аристид хотел было отправиться вслед за ним, но брат был холост, Аристид же не мог тащить с собой жену, не имея денег. И он остался, выжидая, предчувствуя близкую катастрофу, готовый ринуться на первую попавшуюся добычу.

Средний сын Ругонов, Паскаль, казалось, ничем не походил на остальных членов семьи. Он представлял собой один из типов, часто опровергающих законы наследственности. Время от времени в семьях рождается существо, в котором проявляются только созидательные силы природы: Паскаль не походил на Ругонов ни духовно, ни физически. Он был высокого роста, с кротким, строгим лицом; его прямота, любовь к знанию, скромность были полной противоположностью честолюбивым стремлениям и корыстолюбию его родных. Получив в Париже прекрасное медицинское образование, Паскаль по собственному желанию вернулся в Плассан, несмотря на уговоры профессоров. Ему нравилась мирная провинциальная жизнь: он считал, что для ученого она полезнее парижской сутолоки. Но в Плассане он не старался приобрести клиентуру. Его потребности были чрезвычайно скромны, он презирал деньги и довольствовался немногими пациентами, которые случайно попадали к нему. Он позволил себе только одну роскошь – поселился в маленьком светлом домике нового города, где и жил в уединении, предаваясь изучению природы. Особенно он увлекался физиологией. В городе знали, что он

покупает трупы у могильщика из богадельни, и это внушало ужас нежным дамам и трусливым буржуа. Правда, они не дошли до обвинения Паскаля в колдовстве, но пациентов у него стало еще меньше. Он прослыл за чудака, и люди хорошего общества не доверили бы ему лечить царапину на мизинце из боязни скомпрометировать себя. Жена мэра как-то заявила: «Я лучше умру, чем стану лечиться у него. От него пахнет покойником».

С тех пор Паскаля стали избегать. Но он не жалел о том, что внушает страх. Чем меньше было пациентов, тем больше оставалось у него времени для любимой науки. Но так как он брал за визит очень мало, бедные люди остались ему верны. Он жил спокойно на свой скромный заработок, вдали от обывателей, наслаждаясь чистой радостью ученого – радостью исследований и открытий. Время от времени он посылал статью в парижскую Академию наук. Плассан и не подозревал, что чудака, «господин, от которого пахнет покойником», пользуется большой известностью, большим авторитетом в ученом мире. Глядя, как он по воскресеньям отправляется на экскурсию в Гарригские горы с ботанизированной через плечо и геологическим молотком в руке, плассанцы пожимали плечами и сравнивали его с другим городским доктором, таким медоточивым с дамами, который носил чудесные галстуки и распространял вокруг себя тончайший аромат фиалки. Не понимали Паскаля и родители. Фелисите была поражена, увидев, какую он ведет убогую и замкнутую жизнь. Она стала упрекать его в том, что он обманул ее надежды. Аристиду она прощала все, считала его лень плодотворной; но скромная жизнь Паскаля, его любовь к уединению, его презрение к богатству и твердое намерение держаться в тени приводили ее в негодование. Нет, не этому сыну суждено удовлетворить ее честолюбие!

– Откуда ты взялся? – говорила она ему. – Ты не такой, как мы. Посмотри на своих братьев: они борются, они стараются извлечь пользу из своего образования, а ты? Ты делаешь одни только глупости. Плохо ты отблагодарил нас за то, что мы разорились, чтобы вывести вас в люди. Нет, ты не наш.

Паскаль, всегда предпочитавший смех ссоре, отвечал весело, с тонкой иронией:

– Ничего, не огорчайтесь. Вы не совсем просчитались. Я вас буду бесплатно лечить, когда вы заболеете.

Следуя бессознательному чувству, он редко встречался с родными, хотя и не проявлял к ним неприязни. Он не раз выручал Аристиду, пока тот не поступил в супрефектуру. Паскаль не женился. Он даже и не подозревал о том, что надвигаются большие события. За последние два-три года он занимался великой проблемой наследственности, сравнивал породы животных, различные типы людей и весь погрузился в исследования, увлеченный их интересными результатами. Наблюдения над самим собой и над своей семьей послужили ему отправным пунктом. Простые люди, обладающие верной интуицией, хорошо понимали, насколько он не похож на Ругонов, и называли его просто «доктор Паскаль», никогда не добавляя фамилии.

За три года до революции 1848 года Пьер и Фелисите продали свое дело. Приближалась старость. Обоим перевалило за пятьдесят, они устали бороться. Им не везло, и они боялись, что умрут нищими, если будут упорствовать. Сыновья, обманув их ожидания, нанесли им последний удар. Родители уже не надеялись разбогатеть с их помощью и хотели только обеспечить себе кусок хлеба на старости лет. Когда они ликвидировали свою торговлю, у них осталось всего сорок тысяч франков. Такой капитал мог дать две тысячи франков дохода – едва достаточно для мизерного существования в провинции. К счастью, их было всего двое: обе дочери, Марта и Сидония, вышли замуж, и одна жила в Марселе, другая – в Париже.

После ликвидации дела Ругонам очень хотелось перебраться в новый город, в квартал, где жили все бывшие коммерсанты, но они не решились на это. При своих скудных средствах они играли бы там слишком жалкую роль. Пришлось пойти на компромисс – снять квартиру на улице Банн, отделяющей новый квартал от старого. Но их дом находился на краю старого квартала, и они, в сущности, продолжали оставаться в той части города, где жил простой люд.

Правда, из окон своей квартиры, в нескольких шагах от себя, они видели город богачей; они остановились у порога обетованной земли.

Их квартира находилась на третьем этаже и состояла из трех больших комнат: столовой, гостиной и спальни. Во втором этаже жил сам домовладелец, купец, торговавший зонтами и тростями, а в первом этаже помещался его магазин. Дом был узкий, невысокий, всего в три этажа. Когда Фелисите въехала в новую квартиру, у нее сжалось сердце. В провинции жить не в собственном доме – значит открыто признаться в своей бедности. В Плассане все зажиточные люди живут в собственных особняках, тем более что цены на недвижимость там очень низки. Пьер раскошеливался туго и не хотел и слышать о расходах на обстановку, пришлось удовлетвориться старой: снова пошла в ход, даже без починки, поломанная, колченогая, потертая мебель. Фелисите, прекрасно понимая причину скупости мужа, всеми силами старалась придать блеск старому хламу. Она собственноручно сколотила и подклеила изломанные кресла, сама заштопала вытертый бархат обивки.

В столовой, расположенной в конце квартиры, рядом с кухней, мебели почти не было – стол и дюжина стульев терялись в полумраке огромной комнаты, окно которой упиралось в серую стену соседнего дома. В спальню никто из посторонних никогда не заходил, поэтому Фелисите перенесла туда все ненужные вещи; кроме кровати, шкафа, письменного столика и туалета, там стояли две детские кроватки, одна на другой, буфет без дверок и совершенно пустой книжный шкаф – почтенные ветераны, с которыми Фелисите жаль было расстаться. Зато она приложила все старания, чтобы украсить гостиную, и достигла того, что комната приняла почти приличный вид: диван и кресла, обитые желтым тисненым бархатом, столик с мраморной доской, стоявший посреди комнаты, и в двух углах – высокие зеркала с подзеркальниками. Был даже ковер, покрывавший только середину паркета, и люстра в белом кисейном чехле, засиженном мухами. На стенах висели шесть литографий, изображавших главные сражения Наполеона. Вся обстановка была времен первых лет Империи. Фелисите удалось добиться, чтобы комнату оклеили новыми обоями, оранжевыми, в крупных разводах. Этот резкий желтый цвет придавал всей комнате ослепительную, режущую глаз яркость. Мебель, обои, занавеси на окнах также были желтые; ковер и даже мрамор круглого столика и подзеркальников имели желтоватый оттенок; но при опущенных шторах резкие тона смягчались, и гостиная становилась почти нарядной. Не о такой роскоши мечтала Фелисите! Она с немим отчаянием глядела на эту едва прикрытую нищету. Почти все время она проводила в гостиной, лучшей комнате в квартире, у окон, выходивших на улицу Банн. Смотреть в окно было для нее самым приятным и в то же время самым печальным занятием. Наискось виднелась площадь Супрефектуры – тот обетованный рай, о котором она мечтала. Маленькая пустая площадь с чистенькими светлыми домами по краям казалась ей райским садом. Она отдала бы десять лет жизни за то, чтобы жить в одном из этих домов. Особенную зависть вызывал в ней угловой дом на левой стороне площади, где жил сборщик податей. Фелисите смотрела на его особняк с непреодолимым желанием, какие бывают у беременных женщин. Если окна были раскрыты, ей удавалось рассмотреть отдельные подробности богатой обстановки, и при виде чужой роскоши у нее разливалась желчь.

В то время чета Ругонов переживала любопытный душевный перелом, вызванный обманутыми надеждами, неудовлетворенными аппетитами. Те немногие хорошие чувства, которые у них были, угасли. Считая себя жертвами жестокой судьбы, они отнюдь не смирились, жадность разгоралась в них все больше, они упорно хотели добиться своего. В сущности, они не отреклись ни от одной из своих надежд, несмотря на пожилой возраст; Фелисите утверждала, что умрет богатой, что у нее такое предчувствие. Но с каждым днем бедность становилась все тягостнее. Когда супруги вспоминали все свои бесплодные усилия, тридцатилетнюю беспрепятственную борьбу, разочарование в детях, когда они видели, что все их стремления привели к этой желтой гостиной, в которой надо спускать шторы, чтобы скрыть ее убожество, ими овла-

девала бессильная злоба. В утешение себе они строили планы, как разбогатеть, изобретали разные комбинации; Фелисите мечтала выиграть сто тысяч франков в лотерее, а Пьер – придумать какую-нибудь необыкновенную спекуляцию. Они жили одной мыслью – разбогатеть, разбогатеть сразу, в несколько часов, наслаждаться всеми земными благами, пусть недолго, пусть хоть один год. Всем существом своим они рвались к этому – рвались грубо, безудержно. Они все еще немного рассчитывали на сыновей, эгоистически, не будучи в силах примириться с тем, что дали детям образование и не извлекли из этого никакой выгоды.

Фелисите почти не состарилась. Эта маленькая черненькая женщина была по-прежнему непоседлива, неугомонна, как цикада. На улице со спины ее можно было принять за пятнадцатилетнюю девочку – по быстрой походке, худеньким плечикам и тонкой талии. Даже лицо у нее мало изменилось, только щеки запали, и усилилось сходство с хорьком; у нее все еще было лицо девочки, иссохшее, но сохранившее прежние черты.

Что касается Пьера Ругона, то он оттрастил брюшко, превратился в почтенного буржуа, которому не хватало только капитала для полной важности. Его одутловатое, бесцветное лицо, его грузная фигура и сонный вид – все говорило о богатстве. Однажды какой-то крестьянин, не зная Ругона, сказал при нем: «Ну и толстый! Должно быть, богач. Наверно, нет ему заботы, чем завтра пообедать!» Эти слова поразили Пьера в самое сердце. Он считал, что судьба жестоко подшутила над ним, одарив его дородством, самодовольной важностью миллионера и оставив его нищим. По воскресеньям, бреясь перед маленьким грошовым зеркальцем, подвешенным у окна, он тешил себя мыслью, что во фраке и в белом галстуке выглядел бы на приеме у супрефекта гораздо представительнее многих пlassenских чиновников. Этот крестьянский сын, побледневший от деловых забот, разжиревший от сидячей жизни, скрывал свои низменные вожеления под бесстрастным от природы выражением лица и действительно обладал той безличной и внушительной наружностью, той бессмысленной самоуверенностью, которые придают представительный вид на официальных приемах. Говорили, что он под башмаком у жены, и ошибались. Он был упрям, как осел; чужая, резко выраженная воля приводила его в такое бешенство, что он готов был лезть в драку. Но Фелисите была ловка и открыто ему не противоречила. У этой карлицы был живой, пылкий характер, но она не брала препятствий с бою: решив добиться чего-нибудь от мужа или толкнуть его на более выгодный, по ее мнению, путь, она увивалась вокруг него, кружилась, как цикада, жалила то тут, то там, сто раз повторяла одно и то же, пока он наконец не сдавался, сам того не замечая. К тому же он сознавал, что жена умнее его, и довольно терпеливо выслушивал ее советы. Фелисите оказалась полезнее, чем муха в басне, и зачастую обдeldывала свои дела одним только жужжанием над ухом Пьера. Как это ни странно, супруги почти никогда не попрекали друг друга своими неудачами. Только вопрос об образовании детей вызывал бурю.

Революция 1848 года застала Ругонов настороже: все они были озлоблены неудачами и готовы за горло схватить Фортуна, попадись она им в укромном месте. Все члены этой семьи выжидали событий, как разбойники в засаде, готовые ринуться на добычу. Эжен караулил в Париже; Аристид мечтал ограбить Плассан; отец и мать, пожалуй еще более алчные, чем они, рассчитывали поработать сами, но не прочь были пожить и за счет сыновей. И только один Паскаль, скромный служитель науки, жил уединенной жизнью влюбленного в науку ученого в маленьком светлом домике нового города.

III

В Плассане, этом обособленном городке, где в 1848 году были так резко выражены сословные разграничения, политические события находили слабый отклик. Даже в наши дни голос народа здесь мало слышен: его подавляет буржуазия своей расчетливостью, дворянство – своим немым отчаянием, духовенство – своими тонкими интригами. Пусть рушатся троны, возникают республики – город сохраняет спокойствие. Когда в Париже дерутся, в Плассане спят. Но если на поверхности все тихо и невозмутимо, то в глубине идет глухая работа, весьма любопытная для наблюдений. Правда, на улицах не слышно стрельбы, зато салоны нового города и квартала Святого Марка кишат интригами. До 1830 года с народом вовсе не считались. Да и сейчас его продолжают игнорировать. Все дела вершат духовенство, дворянство и буржуазия. Священники, которых в городе очень много, задают тон в местной политике: в большом ходу всяческие подкопы, удары из-за угла, ловкая и осторожная тактика, допускающая раз в десять лет шаг вперед или шаг назад. Тайные происки людей, которые больше всего боятся огласки, требуют особой ловкости приемов, мелочного склада ума, выдержки и бесстрастия. Провинциальная медлительность, над которой подсмеиваются в Париже, таит предательства, коварные убийства, тайные победы и тайные поражения. Затроньте их интересы, и эти мирные люди, не выходя из дому, убьют вас щелчками так же верно, как убивают из пушек на площадях.

Политическая история Плассана, как и других мелких городов Прованса, представляет любопытную особенность. До 1830 года плассанцы были ревностными католиками и яркими роялистами: даже народ почитал Бога и своих законных королей.

Но мало-помалу взгляды странным образом переменились: вера угасла, рабочие и буржуа отреклись от легитимистов² и примкнули к могучему демократическому движению нашей эпохи. Когда разразилась революция 1848 года, одни лишь дворяне и священники встали на сторону Генриха V³. Они долгое время считали воцарение Орлеанов⁴ бессмысленной попыткой, которая рано или поздно приведет к возвращению Бурбонов; правда, их надежды сильно пошатнулись, но они все же продолжали бороться, возмущаясь отступничеством прежних соратников и пытаясь вернуть их в свои ряды. Квартал Святого Марка, при поддержке всех своих приходов, принялся за работу. В первые дни после февральских событий буржуазия и особенно народ бурно ликовали. Республиканские новички спешили проявить свой революционный пыл. Но у рантье нового города он вспыхнул и угас, как солома. Мелкие собственники, бывшие торговцы, все те, кто при монархии наслаждался праздностью или округлял свои капиталы, быстро поддались панике; при Республике жизнь была полна всевозможных потрясений, и они дрожали за свою мощну, за свое безмятежное эгоистическое существование. И поэтому в 1849 году, с возникновением клерикальной реакции, почти все плассанские буржуа перешли в партию консерваторов. Их приняли с распростертыми объятиями. Никогда еще новый город не сближался так тесно с кварталом Святого Марка: некоторые дворяне стали даже подавать руку адвокатам и торговцам маслом. Эта неожиданная предупредительность покорила новый квартал, и он тут же объявил непримиримую войну республиканскому правительству. Сколько ловкости и терпения пришлось потратить духовенству, чтобы добиться подобного сближения! В сущности, плассанское дворянство находилось в глубокой прострации, в своего рода аго-

² *Легитимисты* (от латинского слова *legitimus* – законный) – приверженцы свергнутой династии Бурбонов.

³ *Генрих V* – имя, данное графу Шамбору (1820–1883), внуку Карла X, изгнанному вместе с ним из Франции в 1830 году во время Июльской революции. Легитимисты безуспешно выдвигали его в качестве претендента на французский престол.

⁴ *Орлеаны* – герцоги Орлеанские, младшая линия династии Бурбонов, занимавших престол во Франции с 1589 года; к этой линии принадлежал и король Луи-Филипп.

нии: оно сохранило свою веру, но, погрузившись в глубокий сон, предпочитало бездействовать, предоставив все воле неба; охотнее всего оно протестовало молча, быть может смутно чувствуя, что кумиры его умерли и ему остается только присоединиться к ним. Даже в эпоху переворота, катастрофы 1848 года, когда еще можно было надеяться на возвращение Бурбонов, дворяне оставались инертными и безучастными; на словах они готовы были ринуться в бой, но на деле с большой неохотой отходили от своего камина. Духовенство неустанно боролось с этим духом уныния и покорности. Оно боролось яростно. Когда священник приходит в отчаяние, он сражается еще ожесточеннее. Вся политика Церкви заключается в том, чтобы неуклонно идти вперед, если нужно, откладывая осуществление своих планов на несколько столетий, но, не теряя ни единого часа, все время непрерывно двигаться дальше. И потому в Плассане реакцию возглавило духовенство. Дворянство играло роль подставного лица, не более; духовенство скрывалось за ним, управляло, понукало и даже вдыхало в него подобие жизни. Когда наконец удалось добиться от дворян, чтобы они, поборов свое предубеждение, объединились с буржуазией, духовенство уверовало в свою победу. Почва была превосходно подготовлена: старый город роялистов, город мирных буржуа и трусливых торгашей рано или поздно неминуемо должен был примкнуть к «партии порядка». Искусная тактика духовенства ускорила переход. Завербовав крупных собственников нового города, оно сумело переубедить и мелких розничных торговцев старого квартала. Город оказался во власти реакции, представленной людьми различных убеждений. Трудно вообразить более разношерстную компанию, смесь озлобленных либералов, легитимистов, орлеанистов, бонапартистов и клерикалов. Но в тот момент разногласия не имели значения. Важно было одно – добить Республику. А Республика была в агонии. Ничтожная часть населения, не более тысячи рабочих из десяти тысяч жителей Плассана, продолжала еще приветствовать дерево Свободы, посаженное на площади Супрефектуры.

Даже самые тонкие политики Плассана, руководители реакционного движения, не сразу почувствовали приближение Империи. Популярность принца Луи Наполеона⁵ представлялась им временным увлечением толпы, с которым нетрудно совладать. Самая особа принца не внушала им больших симпатий. Его считали ничтожеством, пустым мечтателем, не способным наложить руку на Францию и тем более удержаться у власти. Он был для них простым оружием, которое они намеревались использовать для достижения своей цели и отбросить, как только появится настоящий претендент. Но прошло несколько месяцев, и политики призадумались, они начинали подозревать, что их обманывают. Им не дали времени опомниться. Произошел государственный переворот, и оставалось только приветствовать его. «Великая блудница», Республика, была убита. Уже это одно можно было считать победой.

Духовенство и дворянство примирились с положением вещей, отложили на будущее осуществление своих надежд и, мстя за свои обманутые ожидания, объединились с бонапартистами, чтобы доконать республиканцев.

На этих-то событиях Ругоны и построили свое благополучие. Участвуя во всех стадиях кризиса, они сумели возвыситься на развалинах свободы. Эти разбойники, выжидавшие в засаде, ограбили Республику; когда ее умертвили, они приняли участие в дележе.

В первые же дни после февральских событий Фелисите, самая пронырливая в семье, почуяла, что они наконец встали на правильный путь. Она принялась увиваться вокруг мужа, подзадоривать его, побуждать к действию. Первые раскаты революции испугали Пьера. Но

⁵ *Луи Наполеон Бонапарт* (1808–1873) – племянник Наполеона I, при Луи-Филиппе дважды неудачно пытался захватить власть. В 1848 году, после кровавого подавления временным правительством буржуазных республиканцев июньского восстания пролетариата, Луи Наполеон был избран (декабрь 1848 г.) «партией порядка» (буржуазией и крестьянством) в президенты Республики. Затем в декабре 1851 года, путем плебисцита, проведенного под давлением покорной ему государственной администрации, он, в нарушение конституции, добился своего избрания президентом на десять лет, а 2 декабря 1852 года при поддержке буржуазии и реакционного крестьянства Сенат провозгласил его императором под именем Наполеона III.

когда жена растолковала ему, что терять нечего, а в общей сумятице можно многое выиграть, он быстро согласился с ней.

– Не знаю, что именно тебе надо делать, – повторяла Фелисите, – но, думается мне, кое-что можно сделать. Помнишь, на днях господин де Карнаван говорил, что он разбогател бы, если бы вернулся Генрих Пятый, и что король щедро вознаградит всех, кто за него. Может быть, и наше счастье в этом. Должно же и нам когда-нибудь повезти!

Маркиз де Карнаван, тот самый дворянин, который, если верить скандальной хронике города, был когда-то близок с матерью Фелисите, время от времени появлялся у Ругонов. Злые языки утверждали, что госпожа Ругон похожа на него. Маркизу было тогда семьдесят пять лет. Он был мал ростом, худощав, подвижен, и Фелисите, старея, действительно начала походить на него чертами и манерами. Говорили, что маркиз истратил на женщин остатки состояния, уже сильно поубавленного его отцом во время эмиграции. Да он и не скрывал своей бедности. Родственник маркиза, граф де Валькерас, приютил его у себя, и тот жил у графа на положении прихлебателя, ел и пил за графским столом и спал в каморке на чердаке графского особняка.

– Послушай, детка, – говаривал маркиз, трепля Фелисите по щеке, – если Генрих Пятый возвратит мне мое состояние, я все завещаю тебе.

Фелисите было за пятьдесят, а он все еще называл ее «деткой». Именно это фамильярное обращение и постоянные обещания наследства и побудили госпожу Ругон толкнуть мужа на путь политики. Маркиз де Карнаван часто горько сетовал на то, что не в силах ей помочь. Конечно, он позаботится о ней как отец, если обстоятельства изменятся. Пьер, которому жена намекнула на истинное положение вещей, согласился действовать по указаниям маркиза.

Маркиз де Карнаван благодаря своему особому положению с первых же дней Республики стал деятельным агентом реакции. Этот суетливый человечек, судьба которого зависела от возвращения законных престолонаследников, усердно работал в пользу своей партии. В то время как дворяне квартала Святого Марка дремали, погруженные в немое отчаяние, быть может боясь скомпрометировать себя и снова очутиться в изгнании, маркиз появлялся повсюду, агитировал, вербовал сторонников. Он был орудием в чьих-то невидимых руках. У Ругонов он теперь бывал ежедневно. Ему нужна была штаб-квартира. Его родственник, граф де Валькерас, запретил ему приводить в дом единомышленников, и потому маркиз избрал для своих целей желтый салон Фелисите. К тому же он нашел в Пьере весьма ценного помощника. Сам маркиз не мог вести агитацию в пользу легитимистов среди мелких торговцев и рабочих старого квартала: его встретили бы насмешками и презрением. Но Пьер провел с ними всю жизнь, говорил их языком, знал их нужды; он умел к ним подойти и убедить их. В скором времени он стал незаменим. Не прошло и двух недель, как Ругоны превратились в более ярых роялистов, чем сам король. Маркиз, видя рвение Пьера, ловко скрылся за его спиной. К чему выставять себя напоказ, благо есть достаточно крепкий человек, на которого можно взвалить все ошибки, совершаемые партией. И маркиз предоставил Пьеру играть роль, чваниться, важничать, принимать повелительный тон, сам же ограничивался тем, что сдерживал или подталкивал его, смотря по обстоятельствам. Бывший торговец маслом быстро превращался в важную персону. По вечерам, когда они оставались одни, Фелисите говорила мужу:

– Продолжай, ничего не бойся. Мы на верном пути. Если так дальше пойдет, мы непременно разбогатеет, у нас будет такая же гостиная, как у сборщика податей, мы станем давать званые вечера.

Дом Ругонов стал центром консерваторов; они каждый вечер собирались в желтом салоне только для того, чтобы поносить Республику.

Здесь было три-четыре бывших купца, которые дрожали за свою ренту и всей душой жаждали «мудрого и твердого правительства». Главой этой группы был Изидор Грану, бывший торговец миндалем, член муниципального совета. Заячья губа, круглые глаза, самодовольное и в то же время недоумевающее выражение лица придавали ему сходство с откормленным гусем,

который переваривает пищу, с опаской озираясь на повара. Грану говорил мало, с трудом подбирая слова, и прислушивался к разговору только в тех случаях, когда речь заходила о том, что республиканцы собираются грабить богачей; тут он багровел так, что казалось, его вот-вот хватит удар, и бормотал глухие проклятия, без конца повторяя: «Бездельники, негодяи, воры, убийцы!»

Но не все завсегдатаи желтого салона отличались тупостью этого жирного гусака. Богатый землевладелец Рудье, у которого было пухлое лицо и вкрадчивые манеры, разглагольствовал часами с пылом орлеаниста, чьи расчеты рухнули после падения Луи-Филиппа⁶. Рудье, в прошлом владелец галантерейной торговли в Париже и поставщик императорского двора, определил сына на государственную службу, рассчитывая, что Орлеаны откроют молодому человеку доступ к высоким должностям. Революция убила эти надежды, и Рудье очертя голову ударился в реакцию. Благодаря своему богатству, прошлым деловым сношениям с Тюильри, которым он пытался придать характер дружественных связей, а также престижу, окружающему в провинции людей, наживших состояние в Париже и удалившихся в глушь на покой, Рудье пользовался очень большим весом; находились люди, которые верили ему, как оракулу.

Всех же посетителей желтого салона, бесспорно, превзошел тесть Аристиды, майор Сикардо. Этот вояка богатырского сложения, с кирпично-красным лицом, покрытым шрамами и усеянным пучками седых волос, прославился в великой армии своим тупоумием. Во время февральских событий его возмущали только уличные бои: он то и дело с негодованием возвращался к этой теме, заявляя, что так сражаться – сущий позор, и с гордостью вспоминал славное царствование Наполеона.

Кроме того, у Ругонов бывал некто Вюйе, подозрительного вида человек с липкими руками; Вюйе владел книжной лавкой и поставлял священные картинки и четки всем ханжам города; он был ревностный католик и поэтому имел большую клиентуру среди многочисленных монастырей и церквей. Ему пришла счастливая мысль сочетать торговлю с изданием газеты. «Плассанский вестник» выходил два раза в неделю и был посвящен исключительно интересам духовенства. Газета ежегодно приносила Вюйе не менее тысячи франков убытку, но зато она создавала ему репутацию поборника Церкви и помогала сплавлять церковные товары, залежавшиеся в лавке. Этот невежественный, малограмотный человек сам сочинял статьи для своей газеты, причем смирение и желчь заменяли ему талант. Когда маркиз приступил к своей кампании, он сразу понял, какую пользу можно извлечь из этой великопостной физиономии пономаря, из этого бездарного и продажного пера. Начиная с февраля в «Плассанском вестнике» стало меньше ошибок: его редактировал маркиз.

Легко вообразить, какое любопытное зрелище представлял собой по вечерам желтый салон Ругонов. Люди самых различных убеждений сталкивались здесь и хором ругали Республику. Их сближала ненависть. Впрочем, маркиз, не пропускавший ни одного собрания, одним своим присутствием прекращал споры, вспыхивавшие порой между майором и другими посетителями салона. Всем этим обывателям втайне льстило рукопожатие, которым маркиз удостоивал их при встрече и при уходе. И только Рудье, вольнодумец с улицы Сент-Оноре, заявлял, что у маркиза нет ни гроша за душой и плевать ему на маркиза. А у маркиза не сходила с лица любезная улыбка светского человека; снисходя к этим обывателям, он не позволял себе ни одной презрительной гримаски, от чего не удержались бы другие обитатели квартала Святого Марка. Жизнь приживальщика научила маркиза обходительности. Он был душой этого кружка. Он руководил им от имени неизвестных особ, никогда не раскрывая их инкогнито. «Они хотят» или «они возражают», заявлял он. Эти невидимые боги, следившие с заоблач-

⁶ *Луи-Филипп* (1773–1850) – сын герцога Орлеанского, Филиппа Эгалите, участника первой буржуазной революции, бежавший за границу после казни отца. Вернулся во Францию в царствование Людовика XVIII. При Карле X слыл либералом. В 1830 году, после Июльской революции, был провозглашен буржуазией королем, главой конституционной монархии.

ных высот за судьбами Плассана, лично не вмешиваясь в общественные дела, были, по всей вероятности, важные духовные особы, политические тузы этого края. Когда маркиз произносил таинственное слово «они», внушавшее присутствующим почтительный трепет, Вюйе всем своим благоговейным видом показывал, что прекрасно знает, о ком идет речь.

Но счастливее всех была Фелисите. Наконец-то ее салон стали посещать. Правда, она немного стыдилась своей ветхой мебели, обитой желтым бархатом, но утешала себя мечтой о том, какую богатую обстановку она приобретет, когда восторжествует правое дело. Ругоны в конце концов крепко уверовали в монархию. В отсутствие Рудье Фелисите уверяла даже, что если они не разбогатели на торговле маслом, то исключительно из-за Июльской монархии. Таким образом, их бедность приобретала политическую окраску. Фелисите была любезна со всеми, даже с Грану, и каждый вечер придумывала новый способ незаметно будить его перед уходом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.